Ооли
Хроники повседневности

Книга первая
Перевозчик

Микаэль Осворт

Микаэль Осворт

Ооли. Хроники повседневности. Книга первая. Перевозчик

«ЛитРес: Самиздат»

2015

Осворт М.

Ооли. Хроники повседневности. Книга первая. Перевозчик / М. Осворт — «ЛитРес: Самиздат», 2015

ISBN 978-5-532-12527-8

Неспешное странствие в поисках смысла и красоты. Радость открытия подлинного себя. Поиск призвания и пути, собственного ответа на вечные вопросы. Жажда цельности, равновесия, согласия чувств и разума. Жизнь, как беседа с судьбой. Путешествие по неизведанным пространствам мира внутреннего — и погружение в Ооли, мир своеобразный и самобытный.Философский роман-лабиринт, рожденный в слиянии фэнтези и магического реализма. Многослойное повествование, обращенное к вдумчивому читателю.

ISBN 978-5-532-12527-8

© Осворт М., 2015
© ЛитРес: Самиздат, 2015

ООЛИ

Хроники повседневности

Книга первая

ПЕРЕВОЗЧИК

Предисловие

Неспешное странствие в поисках смысла и красоты. Радость открытия подлинного себя. Постижение своего призвания и пути. Поиск собственного ответа на вечные вопросы. Соприкосновение с миром. Погружение в глубину ощущений, переживаний и впечатлений. Понимание верного способа жить, в существующих обстоятельствах и условиях. Постепенное овладение равновесием внутреннего и внешнего. Жажда цельности, поиск созвучия и согласия между чувством и разумом. Жизнь, как беседа с судьбой.

Философский роман-лабиринт, уводящий тропинками размышлений, воспоминаний, отголосков былого, переплетенных с событиями и настроениями настоящего. Уводящий читателя вглубь, чтобы вновь возвратить к исходной точке, оставляя на память опыт странствий и размышлений.

Книга, рожденная в слиянии фэнтези и магического реализма. Книга, написанная для тех, кому подоплека событий представляется более значимой, нежели, собственно, происшествия. Для тех, кто идет по жизни своим путем – или только мечтает его обрести. Повествование метафизическое, слой за слоем приоткрывающее смыслы, порою весьма неожиданные. Чтение, увлекающее в путешествие, прежде всего, по неизведанным пространствам мира внутреннего – в котором и происходит большая часть приключений героя, глубине и объемности восприятия отдающего предпочтение перед скоропалительным действием, а влияние на судьбу прочтенных вовремя книг полагающего не менее значимым, чем воздействие жизненных обстоятельств.

Книга, возможно, окажется созвучной тому, кто уже не способен забыть «Приключений Робинзона Крузо», тревог и опасностей «Острова сокровищ», мрачноватого очарования «Имени Розы», горького понимания, что – и в самом деле – «Трудно быть богом». Читатель услышит здесь смутные отзвуки «Степного волка», уловит намеки «Игры в бисер». Обнаружит себя потерявшимся в лабиринте, перекликающемся с вымыслами и хитросплетениями Борхесовых рассказов. Временами окажется погружен в тягучую, плотную пестроту бытия, напоминающую «Сто лет одиночества». Многочисленные подробности и отсылки воскресят перед мысленным взором страницы «Хазарского словаря». Неспешность повествования, подобная ходу большого судна в бескрайнем море, окажется в чем-то сходной с поэтикой Бродского, а внимание к ускользающей красоте повседневности, как и тяга к раскрытию полноты человеческой жизни, напомнят о «Старике и море», о «Празднике, который всегда с тобой». Смыслы – странные и высокие, вплетенные в ткань обыденности, неразрывно с ней связанные, но решительно ей внеположные – прозвучат отголосками «Желтой стрелы», «Чапаева и Пустоты». Тяга героя к поискам истины, страстное побуждение следовать в жизни собственному пути, не взирая ни на людское мнение, ни на житейские затруднения, приведут на память «Алхимика», «Чайку Джонатана Ливингстона». Магия, которая в мире Ооли – как и всяком ином

– ведома только немногочисленным посвященным, опирается на представления, в чем-то схожие с «Учением дона Хуана», а размышления и внезапные озарения, придающие книге своеобразие и значение, покоятся на основании вечной мудрости – в том мире, где посчастливилось воплотиться автору и большинству вероятных его читателей, в предельной своей глубине проявленной как веданта, дао, дзен.

Герой – не лишенный собственного надлома, неизбывной в своих отношениях с миром сложности, даже и затаенной горечи – не вынашивает, однако, коварных замыслов порабощения или уничтожения мира. Не мыслит себя и спасителем, призванным нести свет заблудшим; не претендует на обладание истиной, ответом на все вопросы. Окружающий мир ему представляется, в основном, чужеродным, погрязшим в мелких страстишках, приземленным, вед*о*мым ценностями надуманными, искусственными. Бросаться его перекраивать он не торопится – полагая, что прежде следует разобраться и навести порядок в собственной жизни. Работа ему, как вполне он успел уже убедиться, предстоит изрядная. Такая сосредоточенность на интересе частном, однако, не делает его человеком заурядным, обыкновенным – напротив, он остро ощущает внутреннее свое отличие от окружающих, отчетливо понимает, что жизненный путь большинства людей ему не подходит, а значит – необходимо искать собственный.

Поиски смысла и красоты происходят в мире довольно хмуром. Красота присутствует здесь вкраплениями – нужно немало душевных сил, чтобы ее подметить, и еще больше – чтобы, всему вопреки, сохранить в себе эту способность: видеть, чувствовать, понимать.

Островки, сплетенные мостами и галереями. Дома, сросшиеся стенами над водой городских каналов. Величественные старые здания в корявых наростах трущоб. Погода промозглая, вечное межсезонье.

Ооли. Город столичный, пестрый, шумный и многолюдный. Прибежище древней мудрости, оплот высокой мысли, колыбель изящных искусств. Пристанище проходимцев и торгашей, дом родной приземленным, тщеславным, мелочным обывателям. Город, погрязший в немыслимой суете, заглушающей всякий душевный порыв – но вдумчивому искателю готовый оставить лазейку к самому в жизни главному.

Мичи – молодой человек склада своеобразного. Вольнодумец и отщепенец, одиночка, книгочей безнадежный и неисправимый, ценитель наследия древности и любитель маленьких радостей жизни, снаружи – угрюмый и нелюдимый, изнутри – отчаянно жаждущий подлинности и цельности.

Средства на жизнь добывает он незаконным частным извозом – ремеслом доходным, но совершенно чуждым ему по духу. Избегая внимания стражей порядка, стараясь не впутываться в житейские передряги, Мичи надеется сколотить со временем скромное состояние, что позволит ему отойти от дел и предаться изысканным удовольствиям: сочинительству, размышлениям, созерцанию, наслаждению красотой.

Впрочем, Мичи опасается, как бы грубая повседневность не успела оставить в нем слишком глубокий след, пропитать пошлостью и тщетой заурядной обыденности. Сопротивляясь влиянию окружения, пытается он сохранить душевное равновесие, отыскать свой путь и призвание, верный способ устроить жизнь сообразно вкусу и разумению.

Борьба продолжается с переменным успехом, пока случайная встреча с загадочным стариком не переворачивает всей его жизни, принося исполнение затаенных стремлений – и Мичи словно бы вновь оказывается в самом начале пути, готовится к новому странствию.

Глазами героя – взрослеющего, обретающего в мире собственное место, приходящего к зрелости, полноте бытия и творческому расцвету – читатель увидит мир: прекрасный и сложный, узнаваемый и непостижимый, полный возвышенных чувств и низменных проявлений, погрязший в обыденности и скрывающий невероятные тайны. Авторский голос предоставляет возможность взглянуть на происходящее несколько отстраненно, с высоты птичьего полета. Как бы ни дорог был образ героя повествователю, Мичи сегодняшний остается лишь промежуточным звеном, ступенью непростого пути к подлинности и цельности. Книга в целом и представляет собой роман становления. Предполагается, что характер и взгляды героя будут необходимо меняться на протяжении всей эпопеи. Любое текущее положение дел является состоянием переходным, необходимым этапом роста, одной из точек на линии жизненного пути.

Роман «Перевозчик» – первый том восьмикнижия «Ооли. Хроники повседневности» – служит своеобразным прологом истории, в которой судьба героя переплетается с судьбами мира. Так – отражаясь друг в друге – только и могут они быть поняты. Неразрывно связанный с собственным окружением, Мичи – дитя истории, вобравший лучшее из того, что могла предложить не лишенному определенных задатков юноше культура великого Ооли. Не ощущая, однако, подобной связи, Мичи старательно сохраняет обособленность, отстраненность, дорожит независимым образом жизни и строем мысли – что заставляет острую грань между всеобщим и частным порою вспыхивать, ярко высвечивая и внутренние переживания героя, и существующий в мире порядок вещей: обыкновения, нравы и множество пестрых подробностей, исторических и повседневных, что позволяет читателю создать объемное впечатление о мире Ооли, своеобразном и самобытном.

Книга первая

ПЕРЕВОЗЧИК

– И давно? Перевозчиком-то?

«Начинается» – привычно подумал Мичи, оценивая своего пассажира скучающим, нарочито рассеянным взглядом. Определенного впечатления так и не сложилось – ожидать, следовательно, можно было чего угодно. «И уж хорошего ждать не приходится, это точно. Дождешься тут…» Дальнейшее молчание, впрочем, становилось совсем уже неприличным, а потому, мысленно вздохнув, самым бесцветным, на какой был способен, голосом, Мичи буркнул:

– Четверть *меры*.

Четвертый, стало быть, год. Ни много, ни мало. Соответствует действительности. Не вызывает, обыкновенно, у собеседника – на что и надеялся Мичи – навязчивого позыва к продолжению разговора, с этим утомительным выяснением подробностей происхождения и причин к выбору ремесла, планов на будущее, спорами относительно взглядов на жизнь, поиском общих знакомых и неизбежным братанием ближе к концу поездки. Все эти "мы с тобой – капли одного океана", и дружеские, до хруста костей, объятия, и четырехкратные поцелуи, ну и, само

же собой, приглашение на свадьбу любимой сестренки – или какой уж там повод для пьянки у них намечается, в самое ближайшее время…

С годами Мичи научился воспринимать таких пассажиров со стойкостью и достоинством, как зло неизбежное, и не такое уж страшное – как плохую погоду, просто как часть своей, кстати, и без того, довольно-таки неважнецкой работы. В конце концов, это было явно не самое худшее. Все эти разговоры начинаются всегда одинаково – думалось Мичи – а вот заканчиваются, бывает, по-разному. Ох, по-разному… Никогда не знаешь наверняка, что именно может не понравиться в твоем виде, во взгляде, в голосе, в самой манере держаться, а то и даже в способе работать веслом очередному стражнику, под завязку накачавшемуся дешевым пойлом. Или такому же, как и ты, перевозчику, отметившему окончание очередного паршивого дня – и пришедшему от того в состояние полнейшей неспособности отвести к дому собственное корыто. Возможность не получить причитающейся оплаты – а то, ни за что, ни про что, искупаться даже в холодной воде канала – нередко становилась все более отчетливой, по мере продолжения вот так же, совершенно невинно начавшегося разговора. Но и это было не самым худшим. Что действительно беспокоило Мичи, так это мысль о более чем серьезных шансах рано или поздно нарваться на *смотрителя*. В таком случае следующим шагом в разговоре было бы…

– Звать-то как тебя?

Ну, приплыли. Серьезно? Вот именно сегодня, вот так? Мичи не раз пытался представить себе, как это произойдет. До сих пор судьба была к нему благосклонна: от других *такке* ему частенько приходилось выслушивать жутковатые байки о *смотрителях*, но сам он каким-то образом ухитрялся с ними пока еще не столкнуться. Порою – без очевидных причин, повинуясь разве что какому-то шершавому, щекочущему чувству внутри – Мичи уверенно отказывал в перевозке приличного вида господам вполне приятной наружности, однако же понимал, что оставаясь на воде все дольше, так или иначе приближает неизбежное. Но – сегодня?

А ведь день начинался так замечательно! Посреди этой беспросветной, промозглой серости последних дней – неожиданно солнечное, яркое утро, и теплый ветер в распахнутых по такому случаю настежь окнах, ласковый, как *исчадыще*, пропитанный запахами прелой травы, и словно бы льда и меда, и какие-то новые, неопределимые, незнакомые прежде оттенки вкуса в чашке любимой *ойи*… Сжимая в ладонях медленно остывающую чашку, Мичи просидел все утро на широком подоконнике – ощущал босыми ступнями теплые отпечатки солнца на его пористом камне, покуривал любимую свою трубку и размышлял.

Такие дни – думал Мичи, следуя взглядом за узорными колечками дыма, скользящими и растворяющимися в прозрачном, пронизанном светом воздухе – сами по себе могут служить добрым началом, началом чего-то особенного, действительно в жизни нового. Они содержат – он мысленно подбирал точные слова, способные вместить и выразить *сату* – мгновенное, полное, законченное и целостное понимание, только что с ним случившееся и теперь медленно растворявшееся у него внутри, поддаваясь осмыслению исподволь, постепенно – содержат отчетливое, хоть и невысказанное обещание скорой перемены. Обещание волнующее, даже, пожалуй, тревожное – и этот вот самый трепет, само ожидание, предвкушение… Хотя это всего только чувства, но они словно бы представляют собой… Похоже на… Мичи задумался так глубоко, что трубка успела погаснуть. Похоже – на что? Ах, да. Подходящий образ, наконец, отыскался. Предчувствие берега. Пятнышко суши на горизонте, едва лишь мелькнувшее, пусть бы даже и сразу из виду ушедшее… Или, еще вернее – мгновение, когда

нога пловца, наконец, ощущает дно: одна попытка, другая… берег кажется таким близким, почти доплыл, ну же! Нога скользит, проваливается в пустоту – пугающее, неприятное чувство – и остается разве что набрать еще воздуха, еще несколько взмахов – и вот, наконец, да! Там, внизу, под ногами, уже не толща воды, непонятная глубина – дно. Берег. Земля. Пусть еще даже и не получится встать, опереться твердо – но само это чувство, да, вот оно! Обещание, предвосхищение берега. Точный образ, хороший – из тех, что помогают понять, сопоставить, разобраться в своих ощущениях. А утро, и верно, этим предчувствием берега пропитано было насквозь – словно совсем уже скоро должно непременно что-то случиться, произойти. Что-то важное и особенное. Ну… вот, кажется, и случилось – думалось теперь Мичи. Утро, полное неги и предвкушения, теперь казалось бесконечно далеким, словно бы… недействительным? Мичи попытался подобрать точное слово, и усмехнулся, ловя себя на мысли, что сожаление о несбывшемся, похоже, утреннем обещании – смутном, призрачном – даже сейчас беспокоит его куда сильнее, нежели более чем вероятные, вполне ощутимые и серьезные неприятности.

Это «сокровище» – как именовал Мичи, про себя, всяческих непростых пассажиров – он подобрал у моста Кодо Курата, в полной уверенности, что поездка ему предстоит самая, что ни на есть, обыденная. Простая, спокойная – из тех, что делали его занятие более или менее сносным. Жилистый, сухощавый старик в выцветшей накидке помахал ему со сходен, аккуратно устроился на носу, тут же выложил на скамью ровную стопку в пол-*меры* медных монеток, и попросил отвезти его к Рыночному острову, к северному причалу. Ничего особенного. Обычное дело.

К пассажирам вроде этого Мичи относился со сдержанным уважением: поглощенные своими занятиями, обстоятельствами и мыслями люди, которым, по всей видимости, не было до него особого дела. Из одной точки в другую. Всего-то: пройти канал Лайме, вывернуть во второй кольцевой – теперь, в наступающих сумерках, уже не так запруженный лодками – и под мостом Йирха-Парха уйти на Рыночный, к северной оконечности. Вот так – каждый раз бы, а? Прямо с утра, одну за другой, несколько вот таких же ходок – и все. И дня свободна добрая половина, и в кармане уже не пусто – Мичи порой любил потешить себя приятными мыслями, и такого рода подсчеты определенно доставляли ему удовольствие – а то машешь тут, машешь веслами…

Дело же – если Мичи и вправду нарвался-таки на *смотрителя* – принимало оборот достаточно скверный. Монеты успели уютно устроиться в старой, изрядно потертой кожаной его сумке: делать вид, будто подобрал случайного попутчика ради доброй компании, теперь уже поздновато. Сопротивляться аресту было чревато: *смотритель* нипочем не стал бы работать сам по себе, в одиночку. Значит, чей-нибудь пристальный взгляд подметил его лодку еще у моста Кодо, и стража уже дожидается их у северного причала; не приди они вовремя, на воду будет спущена вся проклятая их флотилия. Что и правда им по душе, этим *каспи* – так это охота. Скучновато им, видите ли, в последние-то времена… Мичи еще раз мысленно протянул это свое «*кассссспи*». Прежде чем намертво прилипнуть обидным прозвищем к городским стражникам, слово это служило именованием мелкой, глуповатой и невероятно прожорливой рыбешки – хищной, но едва ли, в силу крохотного размера, опасной. К несчастью, охотиться *каспи* предпочитали, сбиваясь в крупные, плотные стаи – и вот так, беря числом, представляли собой угрозу весьма существенную.

Мичи мысленно перебрал небогатый набор возможностей. Попытки перехитрить *смотрителя* - равно как и подкупить, отвлечь, рассмешить или разжалобить – были, со всей очевидностью, обречены на неудачу. Работу свою они знали, дорожили ею, разве что не гордились

– а потому исключений не делали. Даже и в разговоры, как правило, не вступали – да и что тут скажешь? Незаконный извоз, он и есть незаконный извоз. Наконец, он выдохнул:

– Мичи.
– Мичи-*такке*?

Спокойно глядя в глаза своему пассажиру, Мичи отрицательно покачал головой, прекрасно понимая все, что последует дальше. Сейчас, чтобы избежать случайной ошибки, его вежливо попросят показать руку – внутреннюю часть левого предплечья, где рядом с изящно выписанным его первым именем, временем рождения и свидетельством об окончании общего обучения, над самым запястьем полагалось бы находиться и *ви* – знаку *принятой судьбы*, отражающему, прежде всего, род занятий.

Полагалось бы, вот только запястье Мичи – как, собственно, и сама его дальнейшая судьба, заметил бы он – по сей день оставалось девственно чистым. Затянувшаяся неопределенность, как таковая, не слишком его беспокоила. Даже больше: подобное состояние он находил для себя не лишенным некоторого очарования, видел в нем определенный смысл, а потому вовсе не торопился с окончательным выбором.

Большинство жителей Ооли, не утруждая себя размышлениями о выборе жизненного пути – да и вообще какими бы то ни было, не преминул бы добавить Мичи – судьбу свою попросту наследовали, следуя протоптанной родительскими ногами дорожкой. К достижению полноты первой *меры* – шестнадцати, то есть, годам – едва ли не каждый в Ооли мог уже похвастать *долгим* своим*, взрослым* именем: знаком судьбы, выведенным острой иглой *видо,* мастера-каллиграфа, повыше запястья: несмываемой, основательной печатью сделанного выбора – чаще всего, незамысловатого, предсказуемого, а порой и вовсе случайного.

Определенность несла в себе уверенность и спокойствие. Что бы там ни случилось, как бы ни повернулась жизнь – какой-нибудь *шапта,* рыбак, удосужившись заполучить однажды *ви* рыбацкого братства, оставался уже рыбаком навсегда. Удачливый ли, злополучный, умелый, или же совсем бестолковый – он неизменно произносил свое *долгое имя* с гордостью: Боло-*шапта,* Ивагу-*шапта*… Знак судьбы означал, прежде всего, принадлежность, причастность к некоей общности. Скрепленное морями дрянного пойла, нерушимое рыбацкое братство не обещало, да и не предполагало восхождения на вершину жизни – однако же, всякому позволяло, по праву, ощутить себя своим, и среди своих. А это, как принято было говорить между *шапта*, грело.

Относительно сытое существование, впрочем, было еще одним преимуществом принятия *ви* - неотъемлемым и неоспоримым. Миска *врунды*, наваристой рыбной похлебки, кружка *оки* да щедро набитая мягкими сухими водорослями подстилка предоставлялись всякому, кто нуждался – достаточно было задрать рукав в любом гильдейском трактире, сунув под нос хозяину *знак судьбы.* Ремесленные и торговые гильдии, во имя всеобщего спокойствия и благоденствия, любому среди своих были готовы во всякое время оплатить немудрящий этот набор житейских радостей – так что, как бы ни складывались обстоятельства, участник братства мог быть вполне уверен, что не придется ему провести ночь на улице, да еще на пустой желудок.

Плохие дни судьба приносит -
Но брата брат в беде не бросит.
Бывает плох и целый год -

Но брат тебя не подведет.

Присловье это, известное всем и каждому, родилось, однако же, не в народе. Дорогие теперь сердцу всякого *оолани* слова – как и множество иных речений и поговорок – изначально предназначены были служить поддержанию всеобщего согласия в Городе, и насаждались, в свое время, целенаправленно и умышленно. Широкое их хождение крепило и утверждало братскую верность – чего, собственно, и добивались гильдейские мастера и старейшины, убежденные, что *простецу*-обывателю полагается быть сытым, пьяным, довольным и благодарным – дабы не мешал серьезным людям заниматься важными делами.

Даже принимая во внимание все неудобства, причиняемые лично ему – отщепенцу, оторванному от корней – вполне добровольным отказом занять свое место в сложившемся порядке вещей, Мичи не переставал восхищаться глубоко разумным, почти совершенным устройством жизни, установившимся в Ооли задолго еще до его рождения. Даже догадываясь, что влип – судя по всему – в нешуточную передрягу с законом, Мичи с некоторым удивлением подмечал, что едва ли только не наслаждается, наблюдая отлаженную работу городского порядка, с присущей тому действенностью, разумностью, справедливостью – так что, пожалуй, и не испытывает уже, по большому счету, ни раздражения, ни тревоги.

Итак, ближайшее его будущее особой загадки не представляло. Не обнаружив повыше запястья Мичи *витакке,* знака братства перевозчиков, *смотритель* сухо зачитает ему выдержку из городских уложений, что утверждает незаконность занятия любым промыслом в обход соответствующей гильдии – и уведомит Мичи, что по прибытии их в назначенное место тот будет незамедлительно передан в руки городской стражи. Ради собственной же его безопасности Мичи будет предложено не оказывать сопротивления силам охраны порядка, и всячески содействовать осуществлению правосудия. Вероятнее всего, ночь он проведет за решеткой, на голой деревянной лавке, в компании подобных ему незадачливых нарушителей – а уже на утро нехитрое его дело будет рассмотрено.

Решение судьи поставит Мичи перед простым и понятным выбором. Вероятнее всего, учитывая полное отсутствие в его прошлом проблем с Законом, он вполне мог рассчитывать на отношение доброжелательное, если не дружелюбное. Мичи подумал, что и действительно ведь – каким-то чудом – ухитрился за все четыре года так и не попасться *смотрителям* на глаза. Такому не поверил бы ни один *такке,* хоть настоящий, хоть – вроде него самого – *вольный.* Это и послужит Мичи основным преимуществом – вкупе со спокойной, разумной, ни в коем разе не вызывающей линией поведения. Умение достойно проигрывать Мичи полагал одной из сильных своих сторон, равно как и способность распознать момент, когда полагалось остановиться, перестать уже что бы то ни было предпринимать, когда всякое действие лишь затягивало узел судьбы все туже, превращало и без того плохое положение дел в совершенно невыносимое.

Скорее всего, Мичи действительно мог надеяться не только на относительно мягкое решение судьи, но и на вполне человеческое обращение. Как впервые привлекающемуся к ответственности за незаконный извоз, ему предоставлено будет право незамедлительно устранить саму причину задержания, а именно: на месте согласиться с *выбранной судьбой* – скорее уж, впрочем, *выбравшей*, как сам он не преминул бы заметить – принять *долгое* имя Мичи-*такке*, буквально и означавшее «Мичи-перевозчик», нанести – за счет *братства*! – на левую руку соответствующий знак, уплатить в казну пару монет серебром за рассмотрение дела и, удостоившись от судьи одобрительного похлопывания по плечу и замечания в духе «нельзя

не приветствовать разумный выбор разумного человека», на целиком и полностью законных, отныне уже, основаниях в то же утро вернуться к занятию, которому он и без того посвятил последние годы.

Отказ же от столь замечательной возможности, безусловно, встретит со стороны судьи искреннее непонимание и сдержанное неодобрение. Естественный, а часто и единственный интерес всякого городского чиновника сводится к возможно более полному отсутствию на вверенном ему участке каких бы то ни было неприятностей – и таковые, для Мичи, не замедлят тотчас же воспоследовать, обрушившись на его голову всей тяжестью закона. Отказавшись от простого выхода из создавшегося положения – а именно на это Мичи, по известным лишь ему одному соображениям, твердо уже решился – он, безусловно, выкажет себя злоумышленником, а потому в полной мере и понесет наказание, предусмотренное за незаконные перевозки.

Принятые в Ооли наказания сводились обыкновенно к облагораживающему труду на благо общества. Насколько было известно Мичи, собственное его преступление каралось двумя *мерами* дней работы в каком-нибудь милом местечке, куда обычного *оолани*, не обремененного трудностями с законом и располагающего хоть мало-мальской возможностью выбора, нелегко было заманить ни весьма достойной оплатой, ни настойчивыми попытками убеждения, в духе «настоящему мужчине следует хоть раз в жизни испытать свои силы».

Впрочем, за какие-то деньги желающих найти было все-таки можно. Каменоломни островов Бака и Монке, серебряные рудники Лиибури – места воистину суровые, но где еще простой парень мог бы так быстро себе заработать на новую, скажем, лодку? Совершенно в духе Ооли – духе, чуждом насилию и замешанном на смекалке, здравом смысле и общности интересов, было оставить человеку возможность выбора – будь он даже и пойманным за руку злоумышленником. Главное, чтобы в конечном итоге всем было хорошо – насколько возможно, конечно – и никому не приходилось роптать на свою участь. Какой бы тяжелой ни казалась порой судьба, куда легче принять ее, если понимаешь, что она является следствием твоих же собственных прошлых решений, совершенных и не совершенных поступков, и – самое главное – свободного выбора, происходящего сегодня, прямо сейчас, пусть и среди небогатого, четко очерченного круга возможностей. Житейская мудрость, с вечной оглядкой на которую в Ооли принимались и исполнялись законы, была мощной силой, обеспечивающей покой и согласие городской жизни. Огласив решение, всякий судья, по традиции, обращался к обвиняемому с вопросом, считает ли тот приговор справедливым в достаточной мере, согласен ли с предложенным выбором – к сожалению, ограниченным, но ни чем иным, как только что установленным и подтвержденным нарушением общественного порядка. Как правило, возражений по существу не находилось. Кивнув ли головой, пожав ли плечами, человек отправлялся навстречу последствиям собственных же поступков, и в этом мгновении определенно присутствовало нечто возвышенное и торжественное.

Выбор, перед которым завтра окажется Мичи, скорее всего, сведется к возможности либо отмахать киркой положенный срок, либо найти желающего сделать это вместо него. Все имеет свою цену, даже свобода – и цена известна была заранее. По золотому в день. Мичи быстро прикидывал в голове: один золотой – *мера* монет серебром. В удачный день на воде Мичи зарабатывал порою и до половины *меры*. В не слишком хороший – самый, что ни на есть, обычный – четверть.

Ремесло Мичи находилось в столь суровой зависимости от удачи, погоды, самого ритма городской жизни, что приобретенная, наработанная со временем способность изо дня в день,

несмотря ни на что, зарабатывать эти четыре монеты, казалась ему едва ли не волшебной, служила предметом особой гордости. *Такке* обожали при случае прихвастнуть невиданным барышом, особо удачной ходкой, случайной щедростью пассажира – а то и позубоскалить над глупостью приезжих, не знакомых еще с городскими ценами на извоз: легкой добычей предприимчивых перевозчиков. Кого ни послушай, всякому нет-нет, да и перепадал денек, что один стоил *меры* иных, наполненных привычным, однообразным трудом. Что с того, что частенько приходится довольствоваться жалкой горсточкой медяков, если порой выдаются такие дни? Разговоры эти, сердечная услада всякого *такке,* Мичи оставляли вполне равнодушным. Куда приятнее было ему ощущать чудесную эту свою способность: едва не в любых обстоятельствах вернуться домой с обыкновенной своей добычей – четырьмя монетами серебром. Точнее, конечно, с полной сумкой медяков, которые только еще предстояло сменять, за серебряную монету – по *мере* медью.

В разговоры с прочими *такке* – даже и *вольными,* не входящими в гильдию – Мичи вступать избегал, не считая себя настоящим перевозчиком. В кругу их – проворных обыкновенно, шустрых, словоохотливых, оборотистых – ощущал он себя неуютно, словно бы совершенно чужим. Не умея порой уклониться от навязанной беседы, раскрыть душу случайному спутнику он вовсе не торопился. Излить – как то было заведено – историю своих злоключений, посетовать на погоду ли, на городские ли новые уложения, поспорить о житейских взглядах, обменяться свежими слухами, не упустив случая прибавить парочку небылиц собственного сочинения, да непременно же прихвастнуть своею удачливостью и смекалкой – все это было делом обыкновенным меж перевозчиками, и Мичи, из вежливости, успел за годы свои на воде наслушаться всякого. Хотя радость доброй беседы вовсе была ему не чужда, встретить меж *такке* собеседника по душе он никоим образом не надеялся. В самом деле, попробуй он поделиться даже такой вот малостью, как это его счастливое умение всякий день, с постоянством надежным и неизменным, добывать свои четыре монеты – едва ли кто из перевозчиков понял бы, что уж здесь такого особенного. То ли, конечно, дело – не далее, как вчера: целый *кошти* серебром, а ведь всей и работы было – за угол завернуть! Как и всякому *такке,* Мичи тоже нашлось бы, при случае, чем прихвастнуть – но особого смысла он в этом не находил. За душой имея немалый ворох подобных историй, предпочитал он оставить свое при себе – да и вообще держался от возчицкой братии несколько обособленно.

Как-то раз Мичи даже довелось осуществить заветную мечту всякого перевозчика: добыть полную *меру* серебра за день. Целый золотой: хоть иди, да меняй свою мелочь, в ближайшей же ссудной лавке – как, собственно, он и сделал. То было время, когда только-только пал он жертвой очарования несравненной Сотти, и в деньгах нуждался отчаянно. Расположение этой славной особы обходилось недешево, но Мичи, ошеломленный остротой переживания и глубиной всколыхнувшегося в нем чувства, твердо решил сделать все возможное, чтобы почаще удостаиваться возможности окунуться в этот новый еще для него, удивительный мир, исполненный неги и роскоши. Окрыленный, безуспешно стараясь придать серьезное выражение то и дело расплывавшемуся в дурацкой счастливой улыбке лицу, махал он веслом с рассвета до поздней ночи, не чувствуя ни усталости, ни голода, ни боли в стертых ладонях и затекшей спине. Когда же упал на свою подстилку, гордо сжимая в руке новехонький, сверкающий золотой, занимался уже новый день – который Мичи и проспал целиком, а потом все равно проснулся измотанным и разбитым. Желанная благосклонность была ему, разумеется, дарована – однако же, хорошенько обдумав итог своего трудового подвига, Мичи принял решение вернуться к жизни размеренной, где раннее утро посвящено было приготовлению и вкушению *ойи* - занятию созерцательному и неспешному, дневное время отводилось добыванию средств к существованию, а закат возвещал окончание трудов и приглашал предаться радостям жизни:

отобедать у Фече или Ааме, прихватить с собою сверток хрустящих *лати,* кувшинчик *оммы,* вернуться домой в сумерках, попыхтеть трубкой, сидя на теплом, прогретом за день солнцем пороге – и провести долгий остаток вечера, а то и добрую половину ночи, в обществе одной ли из старых своих знакомых, или же новой, случайно встреченной, восхитительной спутницы: достаточно было лишь протянуть руку, как покорная избранница оказывалась в полной его власти, готовая перед ним распахнуться, открыться: какая – неторопливо, словно бы робко, нехотя, иная – дерзко и соблазнительно, а та и приветствовала, будто старого друга, обещая теплые, уютные удовольствия. Мичи проводил пальцами по гладкой коже их корешков, разглядывал завитушки тисненых заглавий, выбирал вдумчиво, прислушивался к своему влечению, пока не останавливал, наконец, выбора на единственной, что разделит с ним этот вечер. Наслаждение, какое умела дарить хорошая книга, Мичи мог сравнить разве что с объятьями Сотти, изысканной и волнующей. Что книги, что ласки ее – как и все по-настоящему хорошее в жизни, начинал понимать Мичи – обходились весьма недешево, однако же, приглашали в странствия столь упоительные, что Мичи платил назначенную цену охотно, исполненный предвкушения, и не представлял деньгам лучшего применения.

Приняв за правило откладывать половину всего, что удавалось заработать, Мичи с удивлением обнаружил, что с некоторых пор перестал беспокоиться о деньгах. Небольшой, но постоянно пополнявшийся запас порождал в нем приятное ощущение достатка – и даже избытка. *Планти* – произносил он вполголоса всякий раз, взвешивая в ладони приятную тяжесть набитого медяками кожаного мешочка – *Плааааанти,* тянул он сладостное древнее имя богини изобилия и благоденствия, основательно в Ооли позабытой. Поговаривали, что богиня не прочь была вернуть себе немного людского внимания, а потому не скупилась на милость свою к тому, кто и посреди житейской суеты памятовал о ней, средоточии всей полноты, источнике всякого процветания, и не забывал вознести коротенькую хвалу всякий раз, как к тому находился пускай бы и мало-мальский повод.

Разделяя дневную добычу на две равные доли – для дел малых, обыкновенных, и дел особых, *великих*, как с улыбкой называл он их про себя, Мичи испытывал спокойное удовлетворение от установившегося, наконец, равновесия. Непритязательный в повседневных своих нуждах, Мичи тяготел к жизни скромной, однако же, не лишенной некоторых радостей. Половина серебряного *кошти* – восемь медяков – обеспечивали ему хоть и не слишком изысканный, но вполне сносный, даже добротный обед у Хаби. Хаби-*шаави*, хозяин крошечного трактирчика у самого Кольца, готовить умел, любил, и на порции не скупился – особенно для своих завсегдатаев. Заведения Ааме и Фече были дороже, и ощутимо – зато и отведать у них можно было такие блюда, какие и не снились добряку Хаби. Порою, когда Планти оказывалась к Мичи уж как-то особенно благосклонна, он позволял себе наведаться в одну из этих отменных едален – но только если действительно ощущал себя в настроении для подобных радостей. Обыкновенно же предпочитал попросту утолить голод, отделавшись – за все, про все – половиной *кошти.* Еще половина *кошти* отводилась удовольствиям более, по мнению Мичи, утонченным: хорошая *ойа* и табак стоили вовсе не дешево, но привносили в его существование столько удовольствия, что – столкнись он снова с необходимостью ограничить себя в расходах – они стали бы последним, в чем он себе согласился бы отказать. Что действительно было Мичи не по карману, так это его жилище. Ежедневно выкладывать за наем по целому *кошти* казалось ему расточительством едва ли оправданным. Поначалу Мичи нередко подумывал, не вернее ли будет поступиться столь непозволительной роскошью, перебравшись куда попроще. Однако, первоначальное восхищение все никак не желало его покидать, а там и переросло незаметно в такую глубокую привязанность к удивительному месту, где случилось ему поселиться, что, в конце концов, Мичи понял: остаться ему суждено здесь еще надолго – во всяком случае, пока

позволяют средства. К этой паре *кошти*, составлявшим необходимые его каждодневные траты, в удачные дни Мичи вольно прибавлял горсть мелочи, остававшейся после кратного обмена меди на серебро. Медяки он держал в большом глиняном горшке, и по мере нужды расходовал на бумагу с чернилами, уголь для очага, свечи, *оваки* – мыльную пасту для стирки, купания и бритья, мастику для лодки и множество других, то и дело возникающих трат – предсказуемых и неожиданных, приятных или не слишком – однако же, неизбежных, как очередной *Конец Мира.*

Во всем, что касается дел *великих,* Мичи был чрезвычайно строг. Наблюдая, как день за днем прирастает его крохотное состояние, он предвкушал тот далекий момент, когда достигнет, наконец, цели всякого разумного человека: станет свободным. Необходимость изо дня в день зарабатывать себе на пропитание оставалась для Мичи досадным бременем, от которого он всей душой желал избавиться хоть когда-нибудь, дабы посвятить себя занятиям исключительно возвышенным и приятным.

Стремление это было в его жизни, в каком-то смысле, движущей силой. Стать владельцем гостинички, комнат на восемь, где-нибудь в Середине: нанять толкового управляющего, смазливую горничную, да и отойти, наконец, от дел. Или же, допустим, обзавестись собственной харчевенкой, с добродушным пузатым поваром – каково? Желанную целостность этому, пока что довольно смутному, образу придавала непременная хохотушка-подавальщица, шустрая и сговорчивая. А еще можно было прикупить суденышко – пусть даже и не большое, лишь бы вмещало *меру*-другую бочонков да сундуков, да и отправиться торговать: прикупаешь тут, сбываешь там – весь мир обойти можно, в каждом порту – подружка, а всего-то и надо: взять в капитаны старого морехода, бывалого, просоленного – а сам хоть совсем из каюты не вылезай: читай, размышляй, пиши… Мичи трепетно вынашивал эти свои мечты, строил далекие планы – так что, будучи прекрасно осведомлен о кое-каких собственных слабостях, четко и определенно условился с собою однажды относительно поводов, позволявших притронуться к аккуратным стопочкам золотых монет, что хранились в одном из отделений старого, тяжелого, медью обитого сундука темного дерева.

Всякую крупную трату Мичи рассматривал как неизбежно замедляющую и без того уж слишком неспешное исполнение его замыслов; причин, что оправдывают подобное расточительство, находил он весьма немного – но, тем не менее, находил. Стоит только дать себе волю – понимал Мичи с полной определенностью – как тут же все, с таким трудом добытые, отвоеванные у требовательной, назойливой повседневности средства незамедлительно будут израсходованы до последнего медяка – как не раз уже, собственно, и случалось, к его досаде. Утешался он, впрочем, мыслью, что ни одна монета напрасно потрачена не была.

Мичи с некоторой гордостью подмечал, что имеет все основания доверять и собственному вкусу, и умению находить по сходной цене вещи поистине замечательные. Если уж он покупал книгу – а расстаться ради этого с целым золотым, согласно заведенному порядку, Мичи позволял себе не чаще раза в *полную меру* дней – та занимала на полке свое собственное, будто одной лишь ей предназначенное место. Тщательно выбранная, всякая книга ему становилась чудесной спутницей, замечательной собеседницей, с которой не раз скоротает он медленный, тихий вечер. Безусловно, с течением времени предпочтения его могут – и даже непременно должны были изменяться; Мичи готов был к тому, что иные из приобретений его теперешних однажды утратят былое очарование – и все-таки, до сих пор по собственному желанию расстался он с одной-единственной книгой – «Размышлениями о природе человеческой» Гакко Печального. «Размышления» эти, собрание примеров всевозможной людской глу-

пости, жестокости, алчности и тщеславия, были чтением занимательным. Человеческой природы, однако, Мичи успел за последние свои годы насмотреться вдоволь, и к брюзжанию Гакко, вовсе не случайно заслужившего свое прозвище, мог бы прибавить уже немало и собственных наблюдений. Даже и признавая за суждениями его точность и правоту, Мичи никак не мог согласиться окончательно с выводами Гакко – вернее, всему вопреки, не желал еще признавать, что дела людские именно так и обстоят, как было в книге описано, а безнадежная тоска, неизменно накатывающая всякий раз от ее прочтения – неизбежный удел человека мудрого, понимающего, что к чему. Словом, от «Размышлений» Мичи избавился – не без некоторого сожаления, но и не без пользы, ухитрившись получить с перепродажи прибыль в пол-*меры* медью.

Дважды в год, с наступлением зимы и лета, приходил для Мичи черед расставания еще с одним золотым. Мичи тщательно пересматривал свою одежду – что просилось в починку, сносил знакомой портнихе; обзаводился и кое-какой, по нужде, обновкой: теплой ли шерстяной накидкой, парой-другой крепких штанов, или добротными башмаками. Вещи служили ему исправно, долго – но в должный срок требовали внимания, а порой и замены. Согласившись с этими тратами, положив себе предусматривать их заранее, Мичи с некоторых пор одевался уже не только сообразно погоде, но имел и подходящую вещь едва не для всякого случая и настроения. Подобное положение дел ему – вечно готовому пожертвовать последней монетой ради хорошей книги, а потому привычному ко всяческому рванью и обноскам – было в диковину, да и радости доставляло немало, подтверждая справедливость того продуманного, размеренного подхода к делам житейским, который в последнее время он тщательно вырабатывал и осваивал.

В конце зимы, ко дню прощания с уходящим годом – празднику домашнему, самому в Ооли любимому, всенародно отмечавшемуся с восторгом и пышностью – легко, впрочем, переходящими в буйство, чрезмерность и непотребство – Мичи позволял побезумствовать и себе. Перебросив через плечо тяжелую, груженую медной монетой кожаную сумку – полный золотой в мелкой разменной монете, ради удобства торга – он отправлялся утолять свою страсть к прекрасному в лавки *старьевщиков* у дальнего края *Кольца.* Наметанным глазом искал он неброские, глубинной красоты предметы *Прежнего Мира*; подмечал, разглядывал, выделял сокровища посреди залежей хлама. Торговался отчаянно, и возвращался порой с находками столь дивными и диковинными, что долго еще не мог поверить своей удаче. Старое обыкновение одаривать друг дружку на этот день всевозможной полезной утварью не обошло стороной и Мичи. Не ожидая подарков – да и едва ли готовый довериться чужому вкусу в таких делах – Мичи понемногу, из года в год, окружал себя вещами, один уже только вид которых неизменно его наполнял особенной, теплой радостью, а уж пользоваться ими по назначению – предметов бесполезных, одной красоты ради, он не терпел – было чистой воды удовольствием, если не наслаждением.

Ко дню своего рождения Мичи обыкновенно присматривал себе в подарок очередную курительную трубку. На золотую монету, собственно говоря, можно было приобрести полную сумку трубок простецких – из тех, что вполне устраивали Мичи в самом начале его увлечения. Теперь же он избавлялся понемногу от тогдашних своих покупок – с выгодой ли, с потерей – замещая понемногу эти обыкновенные, мало чем примечательные трубки совсем уже другими, особенными. Такие даже и просто разглядывать можно было до бесконечности: совершенство линий, безупречное исполнение, изумительный рисунок древесных волокон… Жизнь не настолько длинна – полагал Мичи – чтобы делить лучшие ее мгновения с плохонькой, посредственной трубкой. Выложив золотой, рассчитывать можно было на трубку великолепную – но Мичи и этого было мало. Выискивал он что-то свое, среди множества исполнен-

ных изящества образов пытаясь нащупать такое, от чего то замрет, то чаще забьется сердце, а внезапное узнавание окатит теплой волной: вот же! Вот! Находить подобного рода сокровища стало излюбленным его развлечением. Даже и с золотым в кармане – как Мичи быстро сообразил – невозможно было запросто заглянуть в ближайшую лавку, да и вернуться домой с того рода добычей, к которой успел он уже, некоторым образом, приобрести вкус. Потому – хотя уступал он страсти своей к собирательству редко – Мичи принял за правило при всяком удобном случае заглядывать в лавки и мастерские. Иногда знал заранее и вполне отчетливо, за чем же именно он охотится; чаще, однако, попросту позволял ей – *правильной* трубке, *той самой*, словно бы в целом мире одному ему только и предназначенной – отыскаться, найтись, встретиться, попасться на глаза: непредсказуемо, неожиданно. Когда же подобная встреча случалась – а происходило это весьма нечасто, да и вообще, с годами, все реже – он просил хозяина на некоторое время отложить трубку – до дня своего рождения; оставлял и серебряную монету в задаток. Мало-помалу хозяева табачных лавочек – не столь уж и многочисленных в Ооли – стали Мичи уже узнавать, и нимало не затруднялись таким пустяком, как придержать приглянувшуюся тому трубочку до следующей годовщины, что приходилась на самый последний день лета – если даже и оставалось времени до нее изрядно. Передумывал Мичи редко, отложенное ему выкупал – и не только по очевидному нежеланию терять оставленный в залог *кошти,* но убедившись, что выбор им сделан верно, так что лучшего он подарка едва ли себе и сыщет.

Таковы, в общих чертах, и были его ежегодные траты: пара золотых на обновки, пара – на милые сердцу вещицы; с пол-*меры* монет - на книги. Два серебряных *кошти,* с какой-то мелочью – не столь даже и заметные – что всякий день поглощала насущность житейская, в год, тем не менее, складывались в *полную меру* золотом – что неизменно удивляло Мичи: крохотное, а все ж таки – состояние! Поделать с этим, впрочем, едва ли можно было хоть что-нибудь. Даже и отказав себе во всякой житейской радости, Мичи урезал бы ежедневные свои траты разве что вполовину – но две *меры* золотом, за год таким путем сбереженные, не оправдывали в его глазах столь сурового с собой обращения. Оставались еще, конечно, вечера в обществе Сотти. Праздник, наступавший для Мичи раз в каждую *меру* дней – а поначалу, если уж быть откровенным, и много чаще: каждую половину, каждую четверть *меры,* через день, да что там – с улыбкой вспоминал Мичи эти не столь уж давние времена – бывало и каждый день. То есть, конечно, ночь. Дорогая, умелая, роскошная, восхитительная, все понимающая Сотти, за пару лет странного их знакомства успевшая стать единственным его настоящим другом – что, впрочем, вовсе не мешало Мичи испытывать к ней влечение, встречаемое с теплой благосклонностью всякий раз, когда мог он это себе позволить. Прогулки в этом саду изысканных наслаждений имели цену, казавшуюся Мичи поначалу немыслимой, запредельной: золотая монета, и за что же? За всего-то навсего одну ночь? Да в порту – любая, за пару *кошти…* Разницу Мичи понял быстро, в первый же вечер – и с тех самых пор старательно избегал всякой мысли о том, на что еще мог бы истратить он свой золотой, и во что складываются за год монеты, оставленные на кованом столике у ее изголовья. Ночь в ее исполнении была вечностью, длящейся до утра – густой, влажной, терпкой, глубокой, податливой, трепетной бесконечностью, в которой Мичи тонул, и выныривать не спешил. Сотти, упоительная, несравненная Сотти – которой бы, кстати, и в голову не пришло бы деньги копить, а не тратить немедленно на духи, кружева, шелка, сладости, крохотные томики стихов и прочие очаровательные безделушки – с полным правом занимала теперь и в сердце Мичи, и в череде неизбежных его издержек собственное свое место, особое, и было это непререкаемо и чудесно.

Так или иначе, ремесло *такке,* даже и вольного, на собственный страх и риск, было занятием прибыльным. И верно – пойди, поищи желающих что ни день, в любую погоду, махать веслом, да еще и терпеть у себя же в лодке кого ни попадя. Спросом перевозка в Городе

пользовалась: что-нибудь заработаешь непременно, а если уж не совсем дурак – то присмотришься, приглядишься, да и приспособишься так, что на жизнь достанет – и на вполне себе неплохую, надо заметить, жизнь. В понимании Мичи это означало возможность потратить меньше, нежели заработал – даже и позволяя себе, порой… Позволяя. Приняв за правило откладывать всякий день пару *кошти* - первым же делом, по возвращении – Мичи приближал далекую свою мечту с поспешностью ползущей по берегу черепахи, добавляя к заветному состоянию *полную меру* золотом каждый год. Положив себе так держать – и продержаться, во что бы ни стало, всего какую-то *меру* лет, от которой четверть уже прошла, и прошла не даром, о чем молча и весомо свидетельствовали ровные стопочки золотых на дне его старого моряцкого сундука – Мичи рассчитывал, если только Планти не вовсе уж оставит его своей благосклонностью, совсем не старым еще человеком сбросить с себя досадное бремя и зажить уже ровно той, наконец, жизнью, какую единственно и считал себе подходящей: в уединении и тиши, предоставленный себе целиком и полностью, в окружении восхитительных книг, утонченных вещей, предаваясь – в покое и неге – размышлению и наслаждениям.

Словом, кое-какими средствами Мичи располагал. Теперь же ему предстояло решить, с какой потерей будет смириться легче, что было дороже: две *меры* дней собственной жизни, или такое же точно количество ступенек в той лестнице, по которой замыслил он добраться к своей мечте, а потому возводил упрямо, складывая золотой к золотому. Решив, что у него еще будет более чем достаточно времени обдумать это – сегодня же ночью, на жесткой казенной лавке, и склоняясь к тому, чтобы рассматривать вопрос исключительно с точки зрения денежной выгоды, оставив всяческие переживания в стороне, Мичи попытался вспомнить, много ли табаку оставалось в его кисете. Оценив состояние своих запасов как вполне удовлетворительное, он, наконец, снова почувствовал себя расслабленно и непринужденно, поддернул край накидки, спадавший с плеча, и вытянул левую руку ладонью вверх, полностью готовый ко всему, что последует дальше.

– Нет. Просто Мичи.

Пассажир его, казалось, на мгновение растерялся, замешкался – но неожиданно вытянул вперед и свою левую руку. Имя его было выведено вязью – что казалось несколько необычным для *оолани*. Ну, да мало ли. *Знак судьбы* не принадлежал ни одному городскому *братству* – из тех, что были известны Мичи. И никаких больше знаков, даже и даты рождения. Чужеземец? Жестом дружеского приветствия, принятым среди мужчин в Ооли, старик обхватил ладонью руку Мичи пониже локтя. Мичи ответил тем же, так что внутренние стороны их предплечий, с нанесенными именами, соприкоснулись. Не разрывая пожатия, незнакомец представился:

– Аши звать. *Ойана* тут еще, рядышком – не слыхал? «У Аши», ага. Так и названа. От северного причала – пара шагов и есть. Ты бы это – заглянул, а? *Оки*, да всякого там такого, Аши не держит – это уж извини. Одна *ойа*-матушка. Но уж какая зато, Мичи – о! О!

Старик закатил глаза, подразумевая нечто, словами не выразимое.

– Ты, это самое, о*йу*-то вообще – как? Любишь, нет? А и вот как сделаем: Аши, почитай, угощает, сегодня-то. За ради встречи, такое дело. А понравится ежели – ну, так и заходи потом, будешь рядом. Ремесло-то ведь – то еще у тебя! Нет-нет, да передохнуть и не помешает, чашечку пропустить. Или как?

Мичи едва мог поверить, что худшие его опасения на этот раз, похоже, не оправдались. Не *смотритель,* то есть*? Ойадо?* Проведенные на воде годы научили его мало-мальски разбираться в людях, так что и беглого взгляда порою было достаточно, чтобы составить о человеке впечатление едва ли не исчерпывающее. Приучив себя прислушиваться и доверяться смутным своим догадкам, ошибался он теперь редко. Оказавшись однажды вышвырнутым из собственной лодки в мутную зеленоватую воду канала парочкой хорошо одетых, ухоженных и – по первому впечатлению – не представлявших ни малейшей опасности господ весьма почтенной наружности, а также расставшись, в другой раз, с любимым своим кошельком и всей дневной выручкой в пользу дряхлого с виду старика, неведомо как молниеносным движением выхватившего из складок штопанной-перештопанной своей накидки кривой зазубренный кинжал, холодное прикосновение которого услужливая память с легкостью позволяла ощутить на шее по первому требованию – а порою и вовсе без такового – Мичи стал осторожнее, осмотрительнее.

Что запомнилось Мичи, так это крупная дрожь, что била его тогда. В первом случае она была вызвана пронизывающим холодом – дело было на исходе зимы. Мичи кое-как выкарабкался из канала на набережную, долго призывно махал ладонью бывалым, а потому равнодушно отводящим взгляд и проплывающим мимо *такке,* и в конце концов, уже почти не чувствуя тела под быстро дубеющей на морозе одеждой, почти силком прыгнул в лодку к какому-то мальчишке. Нужно было догнать, выловить, хоть как-то пришвартовать свою, сносимую медленным течением в сторону пустующего в это время порта, за которым и вовсе уже -открытое море. Обошлось: лодку тогда вернули, а обсохнуть и отогреться целым кувшином горячей *оммы*, щедро сдобренной посредственным местным *орго,* удалось тут же, в ближайшей портовой харчевне. Во второй раз такая же точно дрожь вызвана была не морозом, но ощущением невероятной хрупкости жизни, медленно накрывающим пониманием, сколь тонка, на самом деле, грань, отделяющая бытие от небытия, сколь краткого мига достаточно, чтобы жизнь прервалась, не успев не то что вступить в последнюю свою битву – но даже и понять, что же, собственно, произошло. Одно легкое движение, неуловимое… да и все.

Мичи порой размышлял, до чего красиво было бы, скажем, уйти, потерпев поражение в заключительной яростной схватке жизни со смертью. Или же, наоборот, медленно, подобно углям в очаге, догореть, отдавая тепло и свет, мерцающий, исчезающий, до самой последней, прощальной, едва тлеющей уже искорки, после которой – ничего, только тающая в воздухе тонкая струйка дыма… Злополучная встреча с тем стариком, близкое знакомство с выщербленным, холодным железом оказались для Мичи подлинным потрясением – первым его осознанием, до чего же глупой, бессмысленной, будничной, напрочь лишенной даже налета поэтического очарования, может оказаться смерть. В том числе, его собственная.

Мичи заглядывал в себя, мысленно прокручивал в обратном порядке события, пока не обнаружил того, что искал: мгновения, когда нечто, названия чему он не знал еще, словно бы предупреждало его изнутри, побуждало проплыть мимо, не оборачиваясь на оклик, на взмах руки – неосязаемое, смутное, мимолетное чувство тревоги, которым так легко было пренебречь ради очередной монеты.

Он словно бы снова и снова нырял в собственную глубину, всматривался сквозь непрозрачную толщу в то, что было на самом дне – и нашел ее, наконец: затопленную колокольню, поросшую ракушками, тиной, обжитую рачками и мелкой рыбешкой, средоточие тишины столь непроницаемой, будто само понятие звука было ей чуждо – однако же и там, среди безмолвия и непроницаемой тьмы, верную своему назначению. Гулкий, глухой удар ее коло-

кола раздавался всякий раз вовремя – в ту самое мгновение, когда было еще не поздно, когда выбор еще оставался. И Мичи учился его слышать. Принимая риск, несколько раз он отвечал согласием вопреки отдававшейся в нем эхом тревоге, только чтобы лишний раз убедиться в надежности, непререкаемости полученного предупреждения. Оставаясь собранным, готовым к любой неожиданности, он работал веслом, краем глаза ни на секунду не выпуская из вида подозрительного своего пассажира, ловя малейшее движение, тщательно подбирая, если нужно было, слова, само даже звучание, окраску речи – что, возможно, позволит парой случайных слов разрядить собиравшуюся, готовую уже разбушеваться грозу. Отделавшись, наконец, от очередного подарка судьбы, доставив сокровище это, куда уж там было надобно, Мичи вздыхал с облегчением и отплывал подальше. Оказавшись в одиночестве и недосягаемости, он раскуривал трубку, а затем мысленно погружался туда – на глубину, откуда достигали его эти протяжные, гулкие, похожие на сдержанный стон удары – и прижимался ладонями, лбом, губами к холодной, шероховатой поверхности верного своего колокола. И – выныривал, жадно хватая губами завиток крепкого дыма, словно первый, такой желанный, глоток воздуха.

Едва еще только незнакомец успел как следует устроиться в лодке – теперь, задним числом, Мичи понимал это с полной ясностью – тайный его тревожный колокол заговорил. Голос был вполне отчетливым, различимым. Да и выглядел старик ровно так, как и полагалось бы, в представлении Мичи, выглядеть *смотрителю* - как-то уж слишком не броско, подчеркнуто неприметно. Хотя судьба и помогала Мичи до сих пор избегать неприятной встречи, присмотреться к этой породе со стороны он успел, и общее впечатление для себя составил. Окажись Аши и вправду *смотрителем,* досадовать оставалось бы разве на собственную же свою невнимательность. Ведь всего-то и надо было – как Мичи не раз и поступал в подобных сомнительных случаях – отказаться, отклонить плату широким жестом, да изобразить этакую душевную теплоту – отчего бы, мол, и не подбросить славного человека, ежели по пути? И все-таки, кажется, обошлось. Чего бы *смотритель* делать не стал, так это представляться – тем более, *соприкасаться* с ним *именами*. Не говоря уж и вовсе об этом приглашении на чашку *ойи,* которым, вместо препровождения в кутузку, неожиданно обернулась встреча. Все это не ослабило еще в Мичи внутренней собранности: верная его затопленная колокольня подавала голос нечасто – и никогда без причины серьезной, веской. Что-то происходило. Что-то, отдававшееся внутри неясным этим волнением – но теперь, когда Мичи успокоился достаточно, чтобы взвесить и оценить это чувство, он с удивлением обнаружил очевидную разницу между теперешним смятением и привычной, знакомой ему тревогой. Он все еще словно бы различал гулкое колокольное эхо – там, в глубине своего существа – и безмолвный этот звук был иным, незнакомым еще, и предвещал не опасность, но звучал, как полагалось бы звучать колоколу, созывающему народ на площадь по случаю особому, важному. «Эй, – словно бы говорил он, – проснись!»

Сумерки понемногу сгущались, и отведенное на сегодня работе время, в любом случае, подходило уже к концу. Даже и не вполне готовый еще довериться столь неожиданному обороту дела, на приглашение старика Мичи решил ответить согласием – не ожидая, впрочем, уж слишком многого. Он пожал плечами и кивнул, давая спутнику понять, что не желал бы доставлять неудобства, и ни в коем случае не напрашивается – но, в сложившихся обстоятельствах, безусловно почтет за честь…

В том, что касалось *ойи,* Мичи с некоторой застенчивой гордостью полагал себя человеком довольно сведущим, и удивить его было непросто. Жадный до новых впечатлений, он частенько навещал лучшие – или считавшиеся таковыми – городские *ойаны,* выбирая не самое людное время, чтобы занять приглянувшийся столик – у окна или, напротив, в самой глубине,

в уютном уголке у очага. Предлагая гостям *ойу* – и ничего кроме *ойи,* как заведено было со времен *Прежнего* еще *Мира*, *ойаны* деликатно, но настойчиво состязались между собой не только в искусстве ее приготовления, но и в создании обстановки, что отличала одно заведение от другого. Мичи любил их особую атмосферу: изысканную, неторопливую, нежную. Такова уж была природа этого удивительного напитка, что всякая суета словно бы сама собой прекращалась, чуждая его духу – уступала, сходила на нет, будто стесняясь собственной неуместности. Устроившись поудобнее, Мичи раскуривал трубку и с наслаждением принимался осматриваться.

Посмотреть было на что. Чего стоили одни только сводчатые потолки *ойаны,* что располагалась в подземельях бывшего Арсенала – по прямому назначению не использовавшемуся едва ли не со времен *Вольницы*! Эти крохотные залы, расположенные на разных уровнях, соединенные коваными гулкими лестницами… Или, скажем, *ойана* на острове Урсиа, где находилась единственная уцелевшая мозаика работы самого Оми Киатти. Полотно изображало четверых ученых господ, наслаждающихся беседой за чашечкой *ойи.* Внимательному наблюдателю открывались в картине все новые, все более глубокие смыслы – в этой многослойности обнаруживались и образы четырех времен года, и этапы становления человеческих судеб, и обобщенное представление типов характера и темперамента. Видели здесь и ступени общественной лестницы, и символическое отображение четырех основных философских школ. Предполагали и некое тайное послание, сокровенную истину, что заложена была в картине и только ожидала еще своей разгадки, подобно множеству надписей на позабытом языке *Древних*. К тому же, в силу скрупулезной точности Оми в изображении мельчайших деталей, мозаика его оставалась бесценным источником сведений о жизни времен расцвета *Прежнего Мира.* Естественно, служила она и неиссякаемым источником дохода самой *ойане*, занимавшей небольшое, круглое, куполообразное сооружение, служившее в прежние времена то ли склепом, то ли храмом, то ли и вовсе городской баней – среди людей, неравнодушных к исторической точности, не утихали по этому поводу вежливые, хотя и ожесточенные споры. Маленькая чашечка *ойи* подавалась здесь со стаканом настоянной на лепестках *имби* родниковой воды, доставленной с самого Лиибури, и обходилась в серебряную монету. Чуждый всякого мотовства, Мичи порой не мог отказать себе в удовольствии еще раз полюбоваться Нерги, Ирабаши, Хофу и Мичи. Этими именами он сам же и наделил изображенных на мозаике *ойати* древности, почитателей и ценителей священного уже и в те далекие времена напитка. Эти четверо успели за годы стать Мичи ближе, нежели кто угодно из современников. Последнему, самому старшему среди них, Мичи вовсе не случайно отвел собственное свое имя. В улыбке, что пряталась в уголках глаз этого славного старика, чувствовалось что-то бесконечно родное, знакомое – и в то же время столь далекое и возвышенное, что Мичи глядел на него с некоторых пор не иначе, как на собственный свой идеальный образ: желанный итог и конечную цель со вкусом прожитой жизни. Странная эта их связь находила себе выражение в долгих, обстоятельных письмах, которые Мичи время от времени писал, обращаясь к самому же себе, только в некотором, весьма отдаленном будущем – *Мичи времен поздней осени.* В этих письмах делился он тем, чему едва ли нашел бы понимание среди людей, которых изо дня в день видел рядом; спрашивал совета, размышлял – и образ Мичи с картины Оми всякий раз оживал перед мысленным его взором столь явственно, словно бы старик, доподлинно знавший развязку всех его жизненных историй, и впрямь незримо присутствовал рядом – хоть угощай его чашкой *ойи*.

Чтобы приготовить *ойу* по всем правилам, как полагается, необходимы были четыре предмета: *котта* – тяжелая ступка с пестиком, *вайгни* – небольшая мисочка с лопаточкой для смешивания составных частей, жаровня *буртха*, да еще *джуми* – сосуд с длинной ручкой, в котором *ойа* и доводилась четырежды до закипания. Составляющими *ойи* служили части ред-

ких растений – упорно не желавших произрастать в Ооли, несмотря на все попытки *ойати* вывести местные их сорта. Последовательно представленные в сложившемся порядке приготовления *ойи*, части эти символизировали, очевидно, круговорот жизни. Корневище *нишри,* собираемое ранней весной, когда в нем только пробуждались жизненные соки; соцветия *йими* с тонкими бархатными жилками, распускавшиеся в разгар лета; опавшие и пожелтевшие осенние листья *сангали* – и, наконец, высушенная сердцевина прихваченных морозом плодов *иду*. Драгоценным составляющим полагалось храниться плотно закрытыми, при необходимости – даже и в запечатанных воском емкостях, дабы не выдохлись, не пересохли, не утратили ни единой нотки тончайшего своего, богатейшего аромата.

Точного, раз и навсегда установленного соотношения, разумеется, не существовало. Подбирая пропорции, приходилось опираться исключительно на собственный опыт, доверяться чутью. Для приготовления *ойи* каждую из частей следовало по отдельности, не нарушая естественной последовательности, измельчить в ступке в тонкую пыль, по мере готовности перекладывая в *вайгни.* Когда все четыре составляющие были растерты, необходимо было тщательно перемешать их между собой широким, чуть закругленным концом специальной лопаточки, после чего на некоторое время оставить смесь «подышать». Вскоре наступал черед насладиться нежнейшим ее запахом – сходным, но в то же время отличным от аромата готовой *ойи*. На этой стадии кончик носа Мичи, зачарованного сложной игрой нюансов готовой смеси – до полной невозможности оторваться от *вайгни* - оказывался, обыкновенно, припудрен кирпичного цвета пылью, которую он, бывало, так потом и забывал стереть. По этому знаку *ойати* частенько с улыбкой узнавали друг друга на улицах Города. Подышавшую воздухом смесь, соединившую отдельные запахи в единое целое, той же лопаточкой можно было теперь бережно перекладывать в *джуми*, и заливать прохладной водой. Желательно было использовать родниковую – ключевая вода богатого серебром Лиибури ценилась особо – но, за неимением таковой, вполне можно было обойтись и самой обыкновенной, дождевой, разве слегка «укрепив» ее каплей морской воды.

Буртха - жаровня – представляла собой своего рода глубокую сковороду с плоским дном и высокими бортами, на ладонь заполненную чистейшим, тщательно просеянным песком. Огонь под ней обыкновенно разводился еще до начала всего ритуала, и к тому времени, как *ойа* залита была водой, *буртха* успевала прогреться как раз в нужной мере. *Джуми* следовало теперь погрузить в горячий песок, и плавными движениями, слегка покачивая, водить им от середины к краям и обратно, вырисовывая донышком сходящиеся и расходящиеся спирали. Через *панту*-другую вода вскипала, и над *джуми* поднималась плотная шапка пены. Тогда сосуд было нужно слегка приподнять над жаровней, легко встряхнуть, постучать днищем о стол, или же просто перемешать *ойу* узким концом лопаточки. Доводить до кипения *ойу* полагалось четырежды, после чего можно было и разливать по чашкам. Будучи представленной сторонам света, короткими движениями: к себе, от себя, влево и вправо, *ойа* считалась, наконец, готовой к употреблению.

Освоив должный порядок приготовления, как следует разобравшись в тонкостях древнего искусства, Мичи себя полагал заправским *ойати*. Вот почему ожидания его от посещения заведения Аши – о котором он, говоря по правде, и слыхом не слыхивал – исчерпывались невысказанной вслух надеждой: *ойа* будет… горячей, всего скорее. Не так уж мало, таким-то прохладным вечером.

Пришвартовав лодку у свободной каменной тумбы неподалеку от Северного причала, Мичи последовал за Аши по закоулкам Рыночного острова. Хоть Аши и утверждал, что *ойана*

его – совсем рядом, рукой подать, шли они, впрочем, достаточно долго. Перестав уже понимать, где теперь они оказались, Мичи с вежливой настороженностью поинтересовался, много ли осталось пути, получил вполне ожидаемый ответ – пара шагов, пара шагов! – и уже начал было сожалеть о принятом приглашении, как Аши, нырнув в очередной проулок, вышел к набережной и остановился, расплываясь в улыбке.

– Вот, – сказал он – пришли.

Мичи огляделся. Перед ними был горбатый мостик, ведущий на крохотный, утопающий в зелени островок. Как бывалый *такке,* Мичи тут же подметил, что подойти к острову по воде было не то, чтобы вовсе уж невозможно – но петлять по здешним узким каналам пришлось бы едва ли не до утра. Пешком было вернее, определенно. Он даже поймал себя на том, что испытывает обыкновенную в подобных случаях благодарность к человеку понимающему, согласному пройтись немного от удобного причала к столь хитро расположенному своему жилищу – вместо того, чтобы заставлять перевозчика кружить в потемках по едва проходимым протокам – но тут же вспомнил, что с работой на сегодня покончено, и продолжил осматриваться.

Островок окружен был невысокой, в два локтя, каменной изгородью, основательно зарос густым кустарником и ветвистыми, тонкими деревцами неизвестной Мичи породы. Заброшенный сад выглядел, следовало признать, живописно. Заросли скрывали приземистую, невообразимого возраста и назначения постройку. Здание было круглым – таких не строили в Ооли со времен Прежнего Мира. Кое-где в щелях каменной кладки гнездилась блеклая сухая трава. Духом былых времен здесь веяло так отчетливо, что Мичи, страстный любитель разного рода древностей, немедленно преисполнился восторженного волнения, не понаслышке знакомого всякому увлеченному исследователю.

Старых построек в Городе с каждым годом оставалось меньше и меньше. Здания ветшали, приходили – вопреки стараниям обитателей – в состояние для жилья непригодное, а то и вовсе опасное. Большей же частью строения Прежнего Мира разобраны были намеренно, ради добротного камня и – прежде всего – драгоценной площади под застройку. Островки вроде этого, обыкновенные для старого Ооли, теперь уже были наперечет; Мичи казалось, что он знает их все – ну, или почти все. Ставить каждый дом на собственном, отдельном клочке земли – как принято было прежде – казалось ныне роскошью непозволительной. Даже и сами острова все чаще теперь срастались, сплетались мостиками, а здания тянулись вверх, громоздились одно на другое, нависали над мостовыми, пока не смыкались над мутной водой каналов, так что мосты перебрасывались уже из окна в окно, с крыши на крышу. Для переполненного, бурлящего Ооли пути назад уже не было – а потому каждый уголок, всему вопреки сохранивший былое очарование, неведомо как устоявший перед суровым натиском времени, был драгоценной находкой для Мичи – и немногочисленных ценителей на глазах исчезающей старины. Глядя на сегодняшний Город, уже почти невозможно было представить себе изначальную его красоту: бесчисленные зеленые островки, вольно разбросанные посреди широкой воды. Ни запруженных каналов, ни улочек-лабиринтов; вместо теперешних строений – отчаянно карабкающихся вверх, друг по другу, срастающихся балконами, слипшихся стенами, сплетающихся мостками, галереями, переходами – чистая вода, ясное небо, крохотные садики, зеленая лужайка перед каждым крылечком…

Жилище Аши, будто вросшее в островок корнями, вне всяких сомнений было исключительно древним, хотя и несло отпечаток заботливого вмешательства. Черепичная крыша без единой выбоинки; вполне еще крепкие, ровные деревянные ставни; тяжелая кованая дверь,

явно выкрашенная совсем недавно – темно-красная, точно в цвет черепицы. Надпись на двери, старательно выведенная от руки, гласила, и верно: *«У Аши»*. Даже и на ведущей к дому тропинке каждый камень брусчатки плотно сидел на своем собственном месте – в отличие от выщербленных, разбитых донельзя мостовых Рыночного Острова, по которым они сюда пробирались. Рыночный этот местечком был тем еще: скрипучие лестницы с выломанными ступенями; тесные – не повернуться – крытые переходы, грозящие вот-вот обвалиться прямо в канал; нависающие отовсюду пристройки, того и гляди готовые рухнуть на головы незадачливым путникам; хлипкие мостки, ведущие с крыши на крышу – там, где застройка и вовсе не позволяла уже пройти по низу. Не знакомому с историей Города человеку едва ли удалось бы и представить себе, что нынешняя громадина Рыночного острова состояла некогда из множества мелких островков, в точности похожих на этот вот, неведомо как отстоявший свою независимость.

Аши явно наслаждался впечатлением, которое производило на Мичи его жилище. Наконец, он запустил руку под свою накидку – явно знававшую лучшие времена – и отцепил от пояса довольно увесистый, сложной работы ключ. Глаза Мичи вспыхнули: старые вещи неизменно его притягивали.

– Вещь, а?

Аши не без гордости протянул Мичи ключ, украшенный тончайшим кружевом кованого плетения. Холодное старое железо легло Мичи в ладонь. Узнавание было мгновенным и безошибочным: вещь, действительно. Больше таких не делают. Наконец, Мичи сделал над собой усилие и заставил себя расстаться с ключом – хотя, говоря по правде, мог бы разглядывать его еще долго. Похожие ключи встречались ему порой в лавках древностей; несмотря на изумительную работу и несомненную древность их – откликавшуюся в Мичи не одним только восхищением, но чувством, будто встретил старого друга – приобретать подобные вещи он не спешил. Дело было не только в цене. Хорошенько поторговавшись, Мичи вполне мог бы позволить себе радость обладания таким молчаливым свидетелем былого, однако же давно принял себе за правило не приобретать вещей, не имеющих применения. Польза всякого ключа заключалась в способности его открывать и закрывать двери; каждому ключу полагался замок. Как бы ни восторгался Мичи работой мастеров древности, всякий раз приходилось со вздохом ему признать, что замка к такому ключу у него не имелось. Зато он, похоже, имелся у Аши – и это казалось Мичи удивительным, невероятным. Сколько же простоял этот дом? Сколько лет этой тяжелой двери – вне всяких сомнений, не уступавшей самому дому возрастом? Даже если предположить, что постройка закончена была перед самым уже концом Прежнего Мира… это же все равно *мера* человеческих поколений. Немыслимо.

Аши четырежды провернул ключ в замочной скважине – ни скрипа, ни скрежета. Ровные, гулкие обороты – все исправно, работает до сих пор, это надо же… Ухаживая за вещами как следует, можно продлить им жизнь – но чтобы настолько? Старые мастера что-то определенно знали, основательно теперь уже позабытое… Времени подумать об этом как следует, впрочем, не оставалось: Аши распахнул тяжелую низкую дверь, и жестом несколько преувеличенного гостеприимства приглашал Мичи проходить внутрь.

Сам Аши, конечно, именовал свое заведение *ойаной,* да и расположилось оно в постройке достаточно древней, что для *ойаны* было делом первейшей важности: настоящий *ойати* непременно обращал внимание на то, соответствует ли обстановка духу традиции, отвечает ли настроению, перекликается ли со вкусом изысканного напитка. Отыскав однажды место себе

по душе, *ойати* нечасто изменяли любимому заведению. Завлечь разборчивого посетителя было задачей сложной – а чтобы переманить и удержать завсегдатаев, *ойана* непременно должна была обладать особым источником притягательности. Одних только старых стен в таком деле едва ли было достаточно. Новые *ойаны* открывались в Городе часто – всякому *ойадо,* мало-мальски освоившему ремесло, не терпелось опробовать силы в собственном предприятии. Тем не менее, большинство их закрывалось, не продержавшись и года – а оставшимся, по скромному мнению не одного только Мичи, но и всякого понимающего *ойати,* в основном лучше было бы разделить их судьбу. Удержаться на плаву за счет одной только *ойи* заведению удавалось редко. Вступив же на скользкую тропу потакания вкусам широкой публики, остановиться было уже невозможно – и вскоре неплохая, пусть ничем пока и не примечательная, *ойана* вынужденно превращалась в одно из тех мест, куда настоящего *ойати* было нипочем уже не завлечь. Печальная судьба большинства этих добрых начинаний была общеизвестна: *ойу* начинали приготовлять не в *джуми,* как полагается, а в большом общем котле; затем, отвечая запросам случайного посетителя, заглянувшего наскоро перекусить, принимались подавать хрустящие *лати;* в совсем уж плохую погоду соглашались сдобрить чашку *ойи* щедрой добавкой *орго* – хорошего, поначалу. Вскоре *орго* предлагали уже отдельно. Выдержанный, превосходного вкуса напиток, растекавшийся внутри лучистым огнем, мог позволить себе далеко не всякий – и вот уже высочайшего достоинства *орго* из Вакабаси, заботливо выбранный для заведения самолично его владельцем, заменялся и чем попроще – общедоступной местной его разновидностью. Дальше – больше: дешевым *орго* можно было упиться всласть, так что хозяину оставалось лишь наполнять стаканы, да подсчитывать барыши. Вскоре становилось и совсем уже очевидно, насколько подвыпивший посетитель выгоднее разборчивого *ойати,* что весь вечер просидит, погруженный в собственные размышления, с одной-единственной чашкой. Дело было за малым: оставалось выкатить бочку *оки,* настряпать немудрящей закуски – и вскоре уже заведение не знало отбоя от посетителей.

Оки – густого хмельного пойла из перебродивших водорослей *ваппа* – Аши, по собственным его словам, не держал. Мичи, однако, слишком хорошо знаком был с истинным положением дел, чтобы поверить в существование настоящей *ойаны* в подобном месте: посреди захолустья, на задворках Рыночного острова, где нога *ойати* едва ли вообще ступала. Держать здесь *ойану,* не идя на поводу у запросов местной публики, было затеей решительно сумасбродной – во всяком случае, с точки зрения денежной выгоды. Вероятнее всего – думалось Мичи – старик приторговывал, чем придется; как и все кругом, предлагал к чашке *ойе* сушеных фруктов и прочих сладостей, да не забывал, при случае, плеснуть и глоточек *орго.* Хотелось ему считать свое заведение *ойаной* – да и ладно, и пусть его. Настоящую, правильную *ойану* Мичи, конечно, узнал бы сразу, едва заглянув – и сейчас, еще только стоя на пороге заведения Аши, заранее знал уже, что именно ожидает его внутри.

В подобных местах ему доводилось бывать частенько, по случаю и необходимости. Продрогший до костей на промозглом и влажном осеннем воздухе, заброшенный превратностью ремесла на пару *вонт* весельного хода что от собственного жилища, что от ближайшей известной ему приличной *ойаны,* Мичи порою себя ощущал настолько потерянным и уставшим, что понимал: если не сделать, вот прямо сейчас, перерыва на чашку *ойи*, он непременно начнет сетовать на судьбу. Последнего Мичи старался не позволять себе никогда. Все, что происходит сейчас – полагал Мичи – является следствием собственных же его прошлых поступков, решений, выборов, так что и жаловаться здесь не на что. Да и некому, собственно. Бесплодные сожаления и уныние представлялись ему чем-то вроде трясины, от барахтанья в которой чувства притуплялись, а мысли затуманивались – так, что выбраться становилось все труднее, а через какое-то время выхода было и вовсе уже не найти. Даже само понимание, что в

жизни его все может еще стать *иначе,* перемениться – на котором, собственно, только и держался Мичи последние пару лет – в этом вымороченном состоянии казалось блеклым, туманным, лишенным силы. Сохранять собственный дух свободным и ясным полагал Мичи делом важности чрезвычайной. Душевное равновесие в любых обстоятельствах оставляло возможность воспользоваться случайно подвернувшимся шансом, когда буквально одно верное действие, предпринятое в подходящий момент, могло положить конец множеству тревог и печалей. Ясность духа была своего рода ключом, открывающим запертые двери – думалось Мичи, и перед мысленным его взором непременно оказывался иной из тех старых ключей, которыми он любовался порой в лавках древностей. Иногда он и сам казался себе таким ключом: не подходя ни к одной из дверей, что были ему знакомы, он продолжал верить, что где-то непременно должен существовать и замок, который ему – и может быть, только ему-то и соответствует. И даже если это было не так, и судьба его походила на судьбу всех прочих старых ключей – вещиц необычных, затейливых, хоть бы даже ни что и не годных толком – в полной его власти по-прежнему оставался выбор: не заржаветь окончательно, поддерживать в себе эту, пусть и безосновательную, надежду. Хранить, вопреки всему, ощущение предназначения, свое предчувствие смысла; хранить бережно. И что же было лучшим средством подкрепить дух, восполнить силы, вернуть к жизни гаснущую надежду, как не чашка горячей *ойи?* Мичи наспех привязывал лодку, и направлялся, за неимением лучшего выбора, в ближайшее заведение – любое, какое уж есть: согреться и выпить *ойи.*

Позже, закрывая за собой двери подобных местечек, Мичи брезгливо морщился, и в очередной раз давал себе зарок больше никогда не переступать их порога. Стоило лишь отогреться у очага, как первым же делом, едва оттаяв, к нему возвращался хороший вкус – только что, было, промерзший насквозь. Мичи передергивало от царившего здесь гвалта и гомона; от залихватского цыкающего звука, с которым смачно сплевывали на пол табачную жвачку; от въевшейся в самые поры камня и дерева вони; от нестройного, но вполне оглушительного хорового исполнения песен препохабнейшего содержания. Пение это заводилось всякий раз, как очередной гуляка ощущал себя налившимся *оки* до нужного состояния – до того, то есть, в котором он временно не мог уже продолжать пить – и голоса присоединялись к песне, один за другим, набирали силу, пока не захлебывались, наконец, в пьяном гоготе.

Ойу здесь уважали: не существовало, по всеобщему мнению, лучшего средства, когда необходимо было протрезветь поскорее, или же избавиться от мучительного похмелья. Чудодейственное зелье помогало не всегда, и не каждому – кому как везло. Прибегали к нему, однако, охотно, как едва не к последней уже надежде – а потому в подобных местах всегда можно было получить кружку горячей *ойи.* Пределом мечтаний Мичи было усесться со своей чашкой где-нибудь у окна, раскурить трубку… потягивать медленно, не спеша, наслаждаться разливающимся внутри теплом, приветствовать возвращение ясности чувств и мыслей. Совсем замечательно было бы проделать это в уединении и тиши – но обстановка *окайны* ничего подобного не предполагала и близко.

Косые взгляды то и дело обращались к нему от общего стола. Уже и само нежелание Мичи попросту присесть рядом, присоединиться к дружной компании развеселых собутыльников было делом подозрительным – раскуривать же в подобных местах трубку нередко и вовсе было занятием небезопасным. Дело было, разумеется, вовсе не в дыме – царившие в общем зале запахи пота и кислой отрыжки смешивались с кухонными ароматами: прогорклый жир, рыбьи потроха, подгнившие водоросли… Кутаясь в завесу табачного дыма, все это можно было как-то еще пережить – но трубка неизменно притягивала всеобщее напряженное внимание. «Ты эт чо, куришь, шоль? Ученый, поди, а?» Тут же следовало и продолжение: «Слышь, Бохи, ученый

у нас тут – ты прикинь? Трууууубку вон тянет – да ты глянь, ты глянь! Жевать-то, вишь ли, ему не по нраву! Он же это, он как все же не может, он же того – лучше прочих-то, или как? Даааа, Бохи, а вот мы-то с тобой сидим тут, два простых рыбака – а ведь и пепла из этой трубки его не стоим. А, Бохи?» Ну, и так далее. Назревала стычка – излюбленное развлечение завсегдатаев подобных местечек. Что за радость в пьянке без мордобоя? Заплетающиеся голоса наливались угрозой, отяжелевшие веки вяло приоткрывались, притупившиеся под действием *оки* чувства готовы уже были, казалось, вспыхнуть – кое-кто даже и поднимался было из-за стола, изо всех сил пытаясь удержаться на непослушных ногах.

Серьезного противника, настоящую опасность отважному любителю приключений следовало бы поискать где-нибудь в ином месте: утихомирить здешних завсегдатаев было проще простого. Будучи вовсе не прочь обменяться парой вялых тумаков, тузили они друг дружку без особой злости, обид не держали, да и всякую заварушку, обыкновенно, заканчивали братанием. При некоторой сноровке к братанию можно было перейти и непосредственно, минуя, собственно, потасовку: довольно было ответа спокойного, добродушного, ни в коем разе не содержащего не только мыслей, но даже и слов, что могли бы показаться собеседнику непонятными, не говоря уже – вычурными. Поначалу общение на подобном уровне представляло для Мичи некоторое затруднение; годы на воде, впрочем, кое-чему его научили – так что, густо перемежая отборной бранью незатейливый разговор, да вставляя то и дело принятое здесь «братушка», он даже и с трубкой в зубах сходил за своего запросто. С некоторых пор это стало даваться ему легко – без потери, то есть, драгоценного душевного равновесия. Тем не менее, необходимость тратить с трудом выкроенный себе перерыв на умиротворение *простецов* – вместо того, чтобы спокойно выпить свою чашку *ойи* – неизменно омрачала Мичи все удовольствие, и без того, учитывая обстоятельства, довольно сомнительное.

Так, впрочем, бывало не всегда. Конечно, *окайну,* питейное заведение, найти было всего проще: достаточно, собственно, было лишь оглянуться. Порою же Мичи везло: настоятельная потребность в отдыхе – хотя бы и самом коротком – его застигала поблизости от уютной, чистенькой *оти* – лавочки, торгующей, по преимуществу, всевозможными сладостями. *Оки* здесь обыкновенно не подавали, а потому обстановка была спокойной, почти домашней. За пару медяков в таком месте можно было получить большую кружку горячей *ойи,* с непременно же к ней предлагавшимися сухими плодами *акади* – которых Мичи, впрочем, совсем не любил. Все было хорошо в этих *оти* – жаль только попадались они нечасто, и особенно – в дальних концах Ооли. Мичи давно обратил внимание, что если уж подвернулась ему *оти* – стало быть, неподалеку сыщется и *ойана.* Порою, конечно, сил на поиски *правильного* места не оставалось вовсе; когда всего-то и требовалось, что отогреться у очага, да перевести дух, *оти* оставались, все же, выбором неплохим.

Тем не менее, Мичи, как искреннему *ойати,* больно было видеть, во что превращается священное, утонченное искусство приготовления *ойи* в руках людей, не способных понять ни сути его, ни подлинного значения. Что разухабистые *окайны*, что скромные *оти* подавали, все как одна – для простоты дела, учитывая уровень запросов своих завсегдатаев – так называемую *быструю ойу.* Кое-как размолотая готовая смесь *нишри, йими, сангали и иду* стоила много дешевле, чем те же части, взятые по отдельности. Оставалось, разумеется, только строить предположения, каково было истинное содержание драгоценных составляющих в неоднородном, комковатом, преимущественно бурого цвета порошке, который заливался кипятком прямо в кружке, размешивался и подавался под именем *ойи* в заведениях подобного толка. Даже и *быстрая* эта *ойа,* если только не вовсе уж самая низкопробная, оказывала действие вполне благотворное: подкрепляла силы, возвращала душевное равновесие. Большего, порой,

и не требовалось – и все же для Мичи, сведущего *ойати,* она оставалась лишь бледной тенью настоящего, по всем правилам приготовленного напитка: жалким подобием, начисто лишенным благородной глубины и утонченности подлинника.

Хотя с виду заведение Аши и походило на истинную *ойану,* чудес Мичи не ждал: вероятнее всего, обыкновенная *оти* – пусть бы и не без некоторой притязательности. Это было даже по-своему хорошо. Переступив порог и оглядевшись как следует, Мичи не изменил своего мнения: все оказалось примерно таким, как он себе представлял. Аши распахнул изнутри ставни. Сумеречного света было еще достаточно, но он тут же проворно принялся разжигать и светильники, подвешенные к потолочным балкам. Покончив с этим занятием, он лучезарно взглянул на Мичи:

– Славно же, а? Скажи?

Снаружи домик казался совсем небольшим, коренастым, вросшим в землю едва не по самую крышу. Внутри же помещение оказалось довольно просторным: от входной двери спускались четыре широких ступени, так что потолок находился неожиданно высоко. Под каждым из окон – больше, впрочем, напоминавших бойницы – располагался легкий плетеный столик; на столах – по паре перевернутых ножками кверху стульев. Каменная, добротной кладки стена делила круглое помещение поровну: одну половину и занимало, собственно, заведение – другая же часть, вероятно, была жилой. Удобно – подумалось Мичи, имевшему некоторые виды на собственное будущее, а потому не упускавшему случая приглядеться: где, да как было что устроено. Во всю высоту дальней стены сооружены были полки, уставленные коробками, склянками, свертками, ящичками и всевозможной полезной утварью. Тут же, несколько отступив от стены, прямо напротив входа, помещалась и рабочая стойка – мощное, крепкое, сложенное из булыжников основание, крытое цельнокаменной тяжелой плитой. Прямо внутри самой стойки устроен был и очаг: открытая чугунная решетка вписана в каменную столешницу, а дыму – судя по всему – полагалось уходить в нависающий сверху, тянущийся к потолку медный раструб. Места между стеной и стойкой оставалось немного, но хозяин, при некоторой сноровке, все же запросто мог повернуться, туда-сюда. К стене приставлена была и длинная лестница: до верхних полок не дотянулся бы даже и Мичи, в общем и целом довольно рослый.

Мичи постоял еще немного, осматриваясь, прислушиваясь к собственным ощущениям – и вдруг понял, что и само это место, и гостеприимный его хозяин приходятся ему вполне по душе. Почувствовав себя, наконец, легко и непринужденно, с присущей давнему завсегдатаю *ойаны* ловкостью он взобрался на один из высоких тяжелых стульев у самой стойки, уселся вполоборота, опираясь локтем на прохладную поверхность столешницы, закинул ногу на ногу и ответил уже совершенно искренне:

– А ведь и правда, Аши – славно здесь, у тебя!

Аши, явно польщенный, принялся разводить огонь в очаге. Бойкие язычки пламени запрыгали, выглядывая сквозь чугунные прутья решетки и целыми стаями отправляя веселые искорки к темневшему под потолком раструбу.

– Недурно придумано! – заметил вслух Мичи, кивком указывая на раструб и вытягивая к очагу основательно уже замерзшие на вечернем осеннем воздухе руки. Не упустил он и случая проследить за игрой света и тени на каменных стенах, полюбоваться тусклыми отблесками,

которыми вспыхивала то одна, то другая из бесчисленных склянок, заполнявших полки за спиной Аши.

– А то, Мичи! А то!

Аши немного еще посуетился у очага, поворочал в нем кочергой, и, наконец, разогнулся, заговорщицки подмигнул Мичи и взобрался на высокий стул по собственную сторону стойки. Пару мгновений он довольно точно – и потому весьма забавно – подражал свойственной Мичи манере сидеть, вызвав у того искреннюю улыбку; тут же, впрочем, не выдержал – фыркнул от удовольствия, что шутка его не осталась незамеченной. Подогнув под себя ногу и откинувшись на спинку стула, он сказал:

– Ну, пусть его, погорит. Что ли, пока, покурим?

Такого поворота Мичи, признаться честно, не ожидал. Ему казалось уже, что теперь-то он точно знает, что представляет собою радушный его хозяин – домовитый, веселый, дружелюбный и простоватый. Мичи всегда нравилась эта порода. Порой он искренне завидовал незамысловатому, неунывающему жизнелюбию, исходившему от подобного склада людей, как лучится тепло от растопленного очага. В их обществе было ему легко – он словно бы отдыхал от себя самого: от путаных своих мыслей, смутных переживаний, неуверенного еще понимания, от того постоянного, никогда полностью не покидавшего его напряжения, с которым Мичи пробирался по собственному пути, то и дело терявшемуся, ускользавшему, уходившему из под ног – как незнакомая тропинка, по которой идешь один, в темноте, ощупью. Людям же вроде Аши – думалось Мичи – жизнь будто сама дается с такой непринужденной естественностью, что и задумываться не приходится, словно все с самого начала и так понятно: живи себе, знай, да радуйся.

Частенько приходилось Мичи встречать и поэтичные восхваления *стези простеца*, превозносившейся учеными мужами как образец для подражания, своего рода идеал, к которому полагалось стремиться истинному *искателю*. По их мнению – которое Мичи вполне разделял – достичь восприятия жизни столь непосредственного и чистого, хотя бы даже и в самом конце пути, стало бы достойной наградой за годы размышлений и поисков.

Священная простота, однако, не давалась легко. Извилистый путь, петляя, вел Мичи по кругу – широкому кругу жизни, и следовало честно пройти его весь, теряя и вновь обретая, оступаясь и возвращаясь, чтобы оказаться однажды у истока, в исходной точке, где мудрец оказывается подобен ребенку, а *искатель* ничем не отличается от *простеца.* Путешествию Мичи далеко еще было до завершения. Слишком заметной, отчетливой, да и слишком важной еще оставалась для него эта разница: между самим собой, вечно погруженным в собственные мысли – и людьми того склада, к которым принадлежал, судя по всему, и новый его знакомый. Что было и говорить о прочих, копошащихся во мраке невежества, погрязших в неизбывных своих заботах, обуянных страстишками, ползущих по жизни, будто уткнувшись носами в землю?

Впитав и переварив уже предостаточно книжной мудрости, с некоторых пор Мичи решил, что собственный его *путь* – единственная его забота, а *пути* других никоим образом его не касаются. Предоставив всему идти своим чередом, он больше не испытывал уже возмущения, всякий раз прежде вскипавшего в нем прежде от соприкосновения с грубостью и глупостью человеческой. Тяги к принятой у *простецов* общности, к сплетенью своей судьбы со множеством прочих не находил он в себе совершенно, а потому держался уединения – хотя бы

и внутреннего, единственно возможного при теперешнем его ремесле. Впрочем, не упускал и случая скоротать время в доброй беседе со случайными своими попутчиками: приоткрывался, как створки раковины – то ли в надежде уловить проблеск мимолетной, нежданной мудрости, что мелькала порой и посреди житейского разговора, как падающая звезда в ночном небе, то ли начиная уже догадываться, что драгоценная, бережно хранимая им *отдельность* – только ступенька лестницы, что ведет к истинной *общности*.

Трубок *простецы* не курили. Как-то было не принято.

Табак пополам с прозрачной смолой *орбу*, измельченный вперемешку либо с выдержанными в меду сушеными плодами *акади*, либо – для любителей чего покрепче – с подвяленными на солнце пряными водорослями *юти*, можно было купить на всяком углу. Плотная, вязкая, духовитая жвачка продавалась, обыкновенно, нарезанной уже, для удобства, кубиками размером с *кошти*, в промасленной тонкой бумаге. *Кошти* ей была и цена – за *меру* ровных кусочков в шуршащей обертке. *Меры* хватало на целый день жевания почти непрерывного. Покупая ту же жвачку комком, на развес, выгадать можно было едва ли не вполовину – но, простоты ради, в Городе предпочитали готовые именно свертки, которые повсеместно и прижились.

Жевали в Ооли охотно и много. По первому впечатлению терпкий вкус жвачки, чем бы уж там ни сдобренный, всякому казался вполне отвратительным – однако же приятное действие табака, одновременно расслабляющее и бодрящее, возбуждало желание попробовать снова, и вскоре уже вызывало привыкание крепкое – не ко вкусу и воздействию только, но даже и к самому шороху обертки, к податливой плотности тяжелой смолистой массы.

Привычка к жеванию исподволь укоренилась в Ооли пару поколений тому назад, и повсеместно вплеталась в ткань повседневности, породив своеобразные ритуалы – неизменно, по сути, сводившиеся к проявлению и утверждению все того же братского духа, общности. Разделить кусок жвачки на круг – на всех, то есть, присутствующих; приберечь *братушке* последний кубик, перетерпев соблазн сжевать самому; начиная разговор, протянуть собеседнику, в знак радушия, раскрытый бумажный сверток; желая выразить сопереживание и поддержку, разделить комок смолы пополам, присесть рядом и долго жевать вместе, не говоря ни слова…

В такие мгновения принятое в Ооли с незапамятных времен речение – все, мол, мы капли одного океана – на короткий миг, казалось, обретало ясный без всяких слов, почти ощутимый смысл. На деле же все это подразумевало рты, полные табачной жижи, умение сплевывать которую тонкой и плотной струйкой, особым образом прищурившись, по каким-то малопонятным соображениям считалось признаком мужественности. Впрочем, по столь же неясным причинам жующая табак женщина представлялась более чувственной, а подросток, украдкой пренебрегавший запретом – поскольку жевание табака дозволялось лишь по достижении первой *меры* лет – более взрослым.

В свое время *старейшины* не раз предпринимали попытки избавить заплеванный Город от прилипшего к нему проклятия. Вначале по углам улиц расставлены были изящные плевательницы, которым практичные обыватели довольно быстро нашли применение в домашнем хозяйстве. Тогда жевание во всех общественных местах, кроме заведений увеселительных и питейных, было всецело, самым строжайшим образом запрещено. Застигнутому за жеванием табака посреди улицы полагался день общественных работ – как правило, на уборке тех самых улиц. Тот же, кто имел неосторожность пустить тягучую струю, не позаботившись укрыться от бдительного взгляда служителей порядка, должен был, по замыслу *старейшин*, драить самим

же им и заплеванные мостовые уже и пол-*меры* дней – причем делать это, по возможности, поближе к месту своего проживания. Изощренная эта уловка предназначена была не только усилить влияние наказания – ибо кому же охота размахивать щеткой, словно последний уборщик-*мукки*, прямо под взглядами друзей и соседей? – но и привить нарушителю понимание, что убирает он, в конце концов, не какую-то вовсе чужую, ничейную улицу, а наводит чистоту, можно сказать, у собственного порога.

Борьба шла с переменным успехом. Основной – и довольно неожиданной – сложностью оказалось едва ли не полное отсутствие в Ооли подходящих исполнителей уложения – стражников, что сами не пали бы жертвой всеобщего пагубного порока. Напротив, воздав должное своеобразному воздействию табака, весьма полезному при неспокойном их ремесле, стражники и сами жевали не переставая, сплевывали с удалью поистине молодецкой, отчего неизбежно оказывались связанными с провинившимся узами невидимой *общности*, вынуждавшей их ограничиться, обыкновенно, заговорщицким предупреждением неосторожному нарушителю.

Идея объявить жевание табака в Ооли целиком и полностью вне закона *старейшинами* рассматривалась – но была отвергнута как не соответствующая духу общественного согласия, и способная скорее принести Городу больше вреда, чем пользы. Неизбежное возникновение черного рынка, перераспределявшего в пользу теневых дельцов существенную часть доходов обычного горожанина – равно как и обрастание дурацкой, по сути, привычки романтическим ореолом запретной тайны – никоим образом не входило в их планы.

В итоге *старейшины*, раздосадованные отсутствием очевидного и простого выхода из положения, и успокоенные отчасти слабым, но все-таки ощутимым воздействием запретительных мер, по собственному же их выражению, *плюнули* на безнадежное это дело, решив предоставить окончательное решение вопроса течению времени.

Еще в юности, как то и подобало просвещенному горожанину, усвоив на все лады перепетую в многоразличных источниках, старую и чрезвычайно здравую мысль о том, что «всякое наслаждение в изначальной природе своей чисто и прилично человеку достойному, и нет худа в том, чтобы искать удовольствия, но лишь порабощаться ему не следует, как и того допускать, чтобы счастье твое ценою несчастья ближнего покупалось», сами старейшины новомодной простонародной привычки чуждались.

Ценя, в то же время, приносимую табаком ясность духа, бодрость тела и душевный покой, приверженность они питали к курению его в трубке: тому, то есть, способу, которым изначально и употреблялся табак со времен *Прежнего* еще *Мира* – когда, волею судеб, завезен был в Ооли с далеких островов Умбалати.

Нельзя сказать, что курение не вызывало привычки – однако, в отличие от *простеца*, что, едва сплюнув, начинал испытывать мучительную тягу к новой порции жвачки, человек разумный оставался своему наслаждению господином, предаваясь ему в подходящих обстоятельствах, от случая к случаю, свободной волей выбирая занятию этому, приятному во всех отношениях, подходящие место и время.

«Кто же, будучи в здравом уме – рассуждали *старейшины* – захочет обменять удовольствие столь изысканное, сколь и чистое, на мерзкого вкуса жвачку?»

Народ сделал это, не особо задумываясь.

«Не подобает ли всякому человеку стремиться к подражанию достойному примеру, – полагали имевшие все основания быть довольными жизнью старейшины, скромно попыхивая трубочками, – и не естественно ли, законно стремясь к лучшей жизни, равняться на лучших?»

Кое-где в Ооли попытка раскурить трубку запросто могла обернуться для неосторожного «грамотея» парой незлобивых, однако увесистых тумаков.

Выскочек *простецы* не любили. Что угодно, способное выделить человека из толпы, влекло неизбежные насмешки, подначки, вызывало в исполненной братского духа стае настороженность и враждебность. Оказавшись в подобной среде, всего разумнее было, по возможности, придерживаться принятых здесь порядков – выглядеть неприметно, говорить коротко, оборотами пользоваться простыми, любому понятными. Верхом наивности было бы считать, будто проявление хорошего вкуса, изящных манер и правильной речи послужит завсегдатаям *окайны* добрым примером, заронит в сердца стремление к жизни иной, нежели им знакома. Обстояло дело, скорее, ровно наоборот: в глазах *простеца* незадачливый просветитель оставался надутым выскочкой – кичливым, вычурным, полным высокомерия и спеси, которых ему и полагалось немедленно поубавить.

Впрочем, как бы жестока ни была толпа к отщепенцу, как бы ни противилась всякой попытке вырваться, выйти из под неумолимого влияния *общности,* желающие все таки находились. Как и у *простецов*, у людей просвещенных и процветающих складывались собственные обыкновения и привычки, по которым всякому легко было опознать человека своего круга. Подражание принятым в хорошем обществе порядкам нередко служило *простецу* пробудившемуся, возжелавшему от судьбы лучшей доли, первой ступенькой ведущей наверх лестницы – а также, поначалу, и причиной многочисленных ссадин, шишек и синяков. Так или иначе, одной из первых заметных перемен в человеке, неуверенными шагами пробиравшегося к знанию ли, к мастерству ли, к утонченной ли роскоши мира, в котором чашка *ойи* могла стоить серебряной монеты, а вечер в обществе прекрасной спутницы – и целого золотого, нередко становилось обращение к курению трубки. Позже приходила и манера выговаривать слова полностью, вместо обыкновенного у *простецов* смазанного говора: не *таэ,* а все же *такке;* не *койи,* а непременно уже *кошти.* Отсюда недалеко было и до привычки менять исподнее, да и купальню посещать не только уже перед большими праздниками. Однажды наступал и черед походов в Библиотеку, приобщения радостям высокой кухни, знакомства с правильной, настоящей *ойей* – а соответственно, и встреч с людьми того склада, которых едва ли застанешь в *окайне.* Начиналось с трубки; заканчивалось, при должной решимости, целостной переменой жизни. Старейшины – проигравшие, по большому счету, битву с табачной жижей, а потому вынужденные попросту удвоить плату уборщикам – судя по всему, не столь уж и ошибались в своем понимании человеческой природы.

Аши вытащил откуда-то из-под стойки короткую пузатую трубку и кисет с табаком; подвинул кисет Мичи: угощайся, мол.

Утром еще, собирая все необходимое на день, поглядывая из распахнутого окна – на необыкновенно спокойную для этого времени года поверхность океана, на прозрачное, в легкой, пронизанной светом дымке небо без единого облачка – Мичи подумал, что в такой изумительный день следует курить нечто совершенно особенное. Что именно, он уже точно знал: небольшой запас лучшего среди пробованных им табаков бережно хранился в плоской круглой

медной шкатулке, с плотно завинчивающейся крышкой. Мичи зарылся носом в ее драгоценное содержимое, впитывая будоражащий, пряный, спелый, шероховатый табачный запах. Определенно, воплощенное совершенство! Набил первую трубку, переложил немного – на день – в тисненой кожи кисет.

Позже, покачиваясь в лодке и наблюдая за пушистыми, неожиданно затянувшими небосвод облаками, Мичи насладился сполна сложным многоголосием вкусов, игрою полутонов: табак этот был, можно сказать, живой легендой – и совершенно заслуженно. Пару раз Мичи доводилось уже поделиться этим своим сокровищем с людьми понимающими: перевозка востребована была в Городе, все же, не одними только лишь *простецами*. Наблюдать на лицах случайных своих попутчиков переходящее в подлинный восторг удивление было так же почти приятно, как и курить превосходный этот табак в сладостном одиночестве – так что теперь охотно, с некоторым предвкушением даже, Мичи вытащил свой кисет и протянул его Аши.

Интересно было, конечно, что обнаружится в кисете у самого старика. Мичи еще раз окинул взглядом его заведение; скользнул по более чем скромной одежде хозяина, по смуглому, в сетке тонких морщинок, лицу. Попытался навскидку определить, что же именно приходилось по вкусу Аши – однако же, так ни к какому выводу и не пришел. В кисете у Аши – потертом, явно видавшем виды – могло оказаться решительно, что угодно: и легкая, простецкая смесь, медовая, сдобренная *акади,* и грубо нарубленный, забористый, ядреный морской табак. Равно как и все, лежавшее меж двумя этими полюсами.

Развернули кисеты разом, одновременно. Аши расхохотался первым, а Мичи долго еще сидел, уткнувшись носом в тот же точно самый табак, что предложил и своему собеседнику. Такой же – да только, что казалось уж вовсе невероятным, словно бы немного еще богаче, чуточку глубже, сложнее – но… как? Явно подозревая причину, что привела Мичи в подобное замешательство, Аши просто и коротко объяснил:

– Выдержка, Мичи! Вы-держ-ка! Купил – и того, значит: припрячь, да забудь о нем. Годка на четыре, эдак. А уж как достанешь потом – о, тут старика добрым словом-то и помянешь. Аши, он дело ведь говорит – сам же и видишь, а? Ну, давай, набивай уже. Запах – одно, а и надо же вкус испробовать! Этот-то – не соврать бы – добрую половину *меры* вылежан, как-никак.

Некоторое время они пыхтели трубками молча, то обмениваясь понимающими, заговорщицкими взглядами, то просто разглядывая колечки и спиральки дыма, медленно плывущие, чтобы исчезнуть в темноте медного раструба.

Мичи и раньше слышал о преимуществах выдержки, придававшей хорошему табаку звучание изысканное, особое, раскрывавшее всю полноту его вкуса. Упиваясь редкой возможностью составить собственное свое впечатление, он сосредоточенно прислушивался к незнакомым ноткам, что возникали словно из ниоткуда, превращая и без того лучший среди известных ему табаков в источник наслаждения невозможного, далеко выходящего за пределы прежнего опыта.

– А как ты знал, что я… ну, что я тоже трубку курю? – Мичи решился, наконец, нарушить священную тишину – установившуюся, казалось ему, навсегда.

Аши посмотрел на него снисходительно и внимательно:

– А по тебе и не видно, а? Да и что ж это мы? *Ойу*-то будем пить, или что? И хорош ведь: сидит, да молчит себе – нет, напомнить же старику!

Он склонился под стойку, чем-то там громыхнул и вытащил на стол увесистую, широкую *котту* – бронзовую, украшенную четырьмя тонкими бороздками, одна под другой. Мичи догадывался уже, что пить им предстоит отнюдь не быструю *ойу*. Подмигнув ему и отвернувшись, Аши принялся оценивающим взглядом изучать содержимое своих полок; трубку при этом не выпускал – так и держал в зубах. Пару раз он тянулся за определенной склянкой, открывал, принюхивался и ставил на место, бормоча себе под нос: «Не то! Не то!» Наконец, воскликнув довольно: «Ага!», он быстрыми движениями, одну за другой, снял с разных полок и выставил на стол перед Мичи четыре совершенно не похожие друг на друга емкости: видавший виды глиняный горшок, пузатую стеклянную банку с притертой пробкой, маленький скомканный сверток промасленной бумаги и медную шкатулку, изукрашенную тонким узором из переплетающихся, переходящих одна в другую спиралей – вроде той, что служила Мичи для хранения табака.

– Вот! – приглашающим жестом Аши указал на свою добычу – давай, не стесняйся.

Мичи взвесил в ладонях прохладную тяжесть *котты*, провел пестиком по внутренней ее окружности, медленно ускоряя движения – и получил мелодичный, глубокий, таинственный ровный гул. Ступка была вещью определенно древней – и весьма не простой. Не чувствуя более необходимости сдерживать разгоравшееся любопытство, Мичи принялся открывать банки одну за другой, разглядывая их содержимое, принюхиваясь, касаясь кончиками пальцев, бережно растирая. Каждая из составных частей *ойи* была прекрасна по-своему. Розоватое корневище *ниири*, сухое и легкое, как пух, крошилось в мелкую пыль при малейшем усилии. Соцветия *йими*, обыкновенно блеклые, слипшиеся в комок от долгой морской перевозки, лежали в медной шкатулке одно к одному, и были такого насыщенного цвета – оранжевого, в коричневых веснушках – словно бы лишь мгновение назад сняты со своих стебельков. Откупорив горшок с листьями *сангали*, Мичи даже отпрянул: в нос ему так пахнуло переспелой, прелой сладостью, что потребовалась пара мгновений, прежде чем он решился продолжить свои исследования. Аши не упустил случая хихикнуть:

– Неожиданно, а?

Настоящей, впрочем, неожиданностью, был не запах хороших *сангали* - с которым Мичи, если уж быть откровенным, все же знаком был не понаслышке – но именно собрание столь превосходного качества составляющих в этой маленькой, никому не известной *ойане*, затерянной посреди трущоб Рыночного острова.

Любому – думал Мичи, разглядывая маслянистые орехи: крупные, тяжелые, сморщенные, покрытые белым налетом, свидетельствующим о прекрасном их состоянии – любому может повезти на базаре. Только ведь одно дело – купить, по случаю, сверток приличных *иду* – он аккуратно завернул шуршащую бумагу и потянулся к оставленной на столе, успевшей угаснуть трубке – а вот собрать все четыре части, да чтобы такого качества, да и так одну к другой еще подобрать… О, Аши определенно понимал толк!

Старик поставил на решетку очага *буртху* – глубокую чугунную сковороду с потемневшими деревянными ручками, до середины наполненную тончайшим белым песком. Снова исчезнув под стойкой, он извлек небольшой предмет, завернутый в кусок мягкой ткани – судя

по всему, окончательно отслужившей свое накидки – и бережно поставил поближе к Мичи. Внутри был, конечно, *вайгни*: ровная серебряная полусфера, не только лишенная каких бы то ни было рисунков и украшений, но и – в силу очевидного совершенства формы – совершенно в них не нуждавшаяся.

Наконец, Аши отломил кусочек корневища, положил в ступку, слегка размял пальцами и принялся растирать пестиком. Пару раз встряхнув *котту,* он удовлетворенно кивнул, пересыпал ее содержимое в серебряный *вайгни* и потянулся за цветком *йими* – той составляющей, что отвечает в готовом напитке за самые свежие, самые яркие и легкие нотки.

Как поговаривали знатоки, одну *ойу* нельзя приготовить дважды. Едва заметно меняя соотношения, мастерам удавалось создать невероятное разнообразие вкусов и настроений. Различали *ойу* нежданной радости и *ойу* светлых воспоминаний; темную *ойу* желания и томительной страсти; *ойу* окончательного решения и *ойу* доброго начала – бодрящую, отрезвляющую; мрачноватую *ойу* забвения; *ойу* неспешных раздумий; прозрачную *ойу* ясного понимания; *ойу* расставания с прошлым; *ойу* прощания с несбывшимся; *ойу* беседы, затянувшейся до утра – перечисление могло продолжаться до бесконечности, и ни для одной смеси не существовало сколь бы то ни было точного рецепта.

Искусство *ойадо* было неточным, уклончивым, неопределенным, и старательно ускользало от всякой попытки приведения в стройный порядок. Обучиться ему напрямую было решительно невозможно. При желании, всякий мог отправиться на рынок, приобрести подходящую посуду и все составные части, произвести необходимые, хорошо известные действия. Вкус *ойи,* однако же, оставался изменчив, как форма облаков – и непредсказуем, как путь их по небосклону.

Единственным способом – если первые попытки не оказались уж вовсе провальными – оставалось и дальше двигаться по наитию, исследуя неочевидные связи между собственным состоянием и полученным результатом, бережно сохраняя в памяти не столько даже опробованные пропорции, сколько нюансы своего настроения. Секрет был прост: *ойа* отвечала и соответствовала содержанию текущего мгновения. Она готова – и предназначена была – стать именно тем, в чем нуждался человек прямо сейчас; *ойадо* оставалось лишь помочь удивительной ее природе проявиться в мире вещей – и, по возможности, устраниться с пути, предоставив ей *течь*. Более или менее внятным образом, помогающим понять роль человека в происходящем чуде, было сравнение с руслом, каналом, а то даже и с водосточным желобом: задавая потоку форму и направление, *ойадо*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.